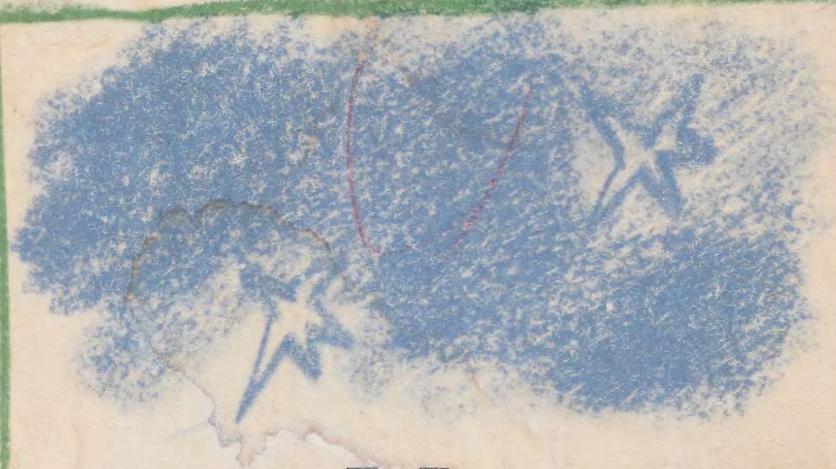


Г. Левинзон

Мы вернёмся на землю





Г Левинзон

Мы вернемся на Землю

ПОВЕСТЬ



Рисунки Г. Мазурина

Издательство «Детская литература»
Москва 1969

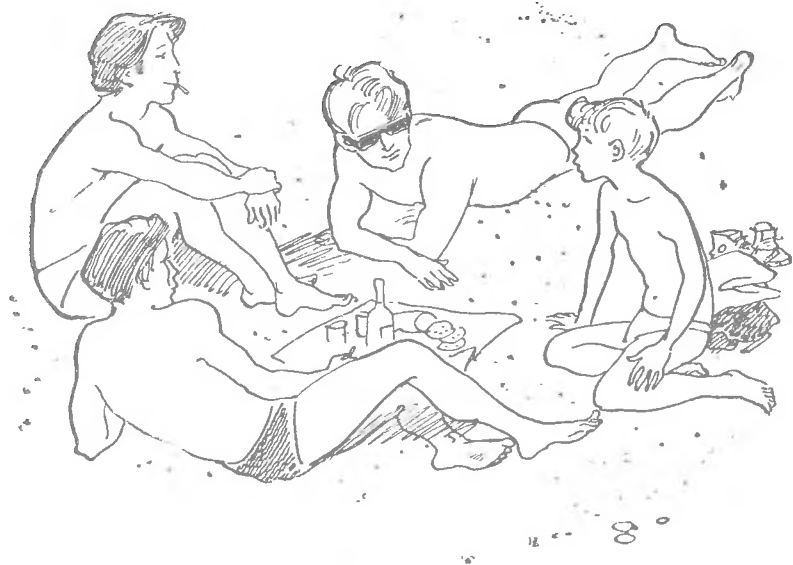
Р 2
Л 36

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Когда ты будешь читать эту книгу, перелистывай по одной странице, иначе ты можешь пропустить что-нибудь важное: скажем, секрет, как слетать на ближайшую звезду, или описание того, как следует вести себя, чтобы не получить двойку, когда ты приходишь в школу с невыученными уроками. Способ этот вполне надежен, и Леня Водовоз, главный герой повести, с успехом прибегал к нему, пока... Впрочем, подробней ты узнаешь об этом, когда дойдешь до соответствующей главы.

Познакомишься ты и с друзьями Лени Водовоза, которых больше всего привлекают в людях искренность и великодушие, смелость и бескорыстие. Они часто размышляют об этом и о многом другом, например о том, можно ли построить космический парусник, как лучше всего есть сосиски и за что следует любить людей.

7—6—3



ПРОЛОГ

Всем хорош наш город, вот только дожди часто. Случаются недели, что они льют без разбору по четным дням и по нечетным, утром и вечером, да еще и в обед поливают тротуары, хоть всем уже давно ясно, что это лишнее.

И в тот день, помню, с утра шел дождь. Я все подходил к окну и смотрел на небо. И только тучи унесло за телевизионную вышку, только показалось солнце и началось подмигивание капель на деревьях, я выбежал на улицу и пошел к остановке автобуса. У нас в городе реки нет, так мы ездим купаться на озеро за город. Раньше я ездил со своим другом Толиком Сергиенко, но он как раз в это лето переехал жить на другую улицу.

На пляже было пустынно, только вороны расхаживали, и помню, одна стояла над клочком промасленной бумаги и, наверно, раздумывала, съесть ей ту бумагу или нет.

Я выкупался и улегся на песке. Закрыл глаза. Всегда, когда вот так лежишь, мечтать начинаешь. Разные истории мне представлялись; во всех этих историях я совершал благородные поступки, и некоторые из этих поступков прямо-таки подвигами можно назвать. Особенно хорошо получилась история про то, как я нашел пять тысяч и вернул их дяденьке, который потерял деньги. Дяденька хотел дать мне пятьдесят рублей. Но я не взял, конечно. А когда мы с ним расстались, я обнаружил у себя в кармане пятьдесят рублей — он незаметно сунул. И вот я лежал, улыбался и раздумывал, как лучше истратить эти деньги. В это время я услышал:

— Эй, пацан, ты что, спятил?

— Он мечтает...

Тот, который это сказал, подошел ко мне и бросил на песок возле моей головы портфель. Он был долговязый; глаза какие-то водянистые, а когда разделся, оказалось, что очень волосатый. Поодаль раздевались еще двое.

Не очень-то приятно, когда замечают, что ты мечтаешь, но я утешился, когда подумал, что их трое. Может, в подкидного дурачка будут играть и меня четвертым возьмут. Раньше такое случалось.

Они пошли к воде, и вдруг долговязый обернулся и крикнул:

— Эй, пацан, а ну, подальше от портфеля!

— Да я не жулик! — сказал я. — Вы что!

— Ладно, ладно! — прокричал он. — Тебе сказано — выполняй!

Чем-то я ему не понравился.

Они вышли из воды, разложили на подстилке еду; долговязый в маленькие стаканчики водку налил.

Я отвернулся. Но долговязый и из-за этого ко мне придираться начал:

— Чего отворачиваешься? Смотри-ка, делает вид, что не хочет. Колбасы хочешь?

Я ответил, что не хочу.

— Врешь, хочешь,— сказал долговязый.— На, ешь.

Я сказал:

— Да не хочу я!

Я все ждал, что они начнут в карты играть. Но вместо этого они разные истории начали рассказывать. Смешные! Особенно мне понравилось про человека, который шел по улице с бананом в ухе. Ему кричат: «Гражданин, у вас банан в ухе!» А он вытащил из уха банан и спрашивает: «Что вы сказали? А то у меня банан в ухе». Вот чудак. Я хохотал над этой историей не знаю как, раза два перекатился со спины на живот и с живота на спину. Мы в нашем классе уж если смеемся, так вовсю: или на пол садимся, или к стенке прислоняемся. Когда не очень смешно, мы все равно так смеемся. Так уж повелось. Но в тот раз на самом деле смешно было: это ж надо —сунул в ухо банан и идет по улице!

— А ты брось смеяться,— сказал долговязый.— Ты ничего не понял, ясно?

— Да ну!— сказал я.— Что я, дурак, что ли?

— А что — нет?— спросил он.— Может, ты отличник?

— Не отличник,— сказал я,— но понимаю не хуже вас.

Долговязый набрал в пригоршню песка и бросил в меня.

Я решил уйти от этой компании. Собрал свои одежки и уже пошел, но долговязый окликнул меня:

— Ты куда? Давай-ка поиграем.

Он подбрасывал теннисный мячик. Я согласился. Мы начали играть в детскую игру — в штандар. Мне понравилось. Я носился по песку и два раза такие трудные мячи поймал, что долговязый даже похвалил: «Ну-ну, молодец».

Сначала все по-честному было, но под конец я заметил, что долговязый и его дружки все время меня вызывают, когда мяч вверх подбрасывают. И вот обидно: они меня не по имени звали, а отличником. «Отличник! Отличник!» Ну и носился же я!

В общем, я проиграл — они мне набили десять, а у них по восьми было. Поставили меня лицом к будке для раздевания, отсчитали шесть шагов и начали в меня мячом бросать. Изо всех сил. Первый раз мяч в будку попал — даже доски задрожали. Долговязый спрашивал:

— Ну как, ты все еще себя умником чувствуешь? — и приговаривал: — Ну, я-то не промахнусь...

Я старался не вздрагивать и не заплакать. Мяч стукался то в меня, то в будку. Эти трое хохотали.

Один сказал:

— Смотри-ка, не плачет...

А другой ответил:

— Он потом будет плакать. Помнишь, как тот толстячок.

Я решил, что ни за что не заплачу. А когда это все кончилось, даже насвистывать попробовал. Они вроде не замечали меня и о чем-то разговаривали.

— Может, еще сыграем? — спросил долговязый.

Я уже оделся.

— Гады! — сказал я и убежал. Я слышал, как они смеются.

Я все же расплакался. В парке. Очень уж обидно было.

Дома я осмотрел спину в зеркале — красная и в синяках. До самого вечера у меня было паршивое настроение. Я придумывал разные истории про то, как мщу долговязому. В одной истории я в его квартире стекла побил, в другой — попал из рогатки прямо в лоб. Вот так я утешался.

Но дня через три я об этом уже перестал вспоминать. И совсем бы, наверно, забыл, если б недавно не встретил долговязого.



Сидел я вечером дома и смотрел по телевизору матч «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Киев), и вдруг входит моя сестра Мила и с ней долговязый. Я сначала даже не узнал его: разодетый и улыбается. Мила говорит:

— Знакомьтесь. Это Валентин.

Мои родители встали и поздоровались с ним за руку. Я вскочил со стула и — бочком из комнаты. Вот ведь как глупо! Выходило, как будто не он передо мной, а я перед ним виноват: я боялся, что неловко получится, если он меня узнает. Я очень переживаю, когда что-нибудь неловко выходит. Поэтому и не люблю с мамой на базар ходить. Она думает, что мне не хочется помогать ей нести покупки, но не в этом дело: мне стыдно, когда она начинает торговаться. Возьмет курицу и спрашивает: «Сколько стоит этот цыпленочек?» Я тогда подальше отхожу — не могу этого слышать. Если бы я продавал курицу и мне такое сказали, я бы не знаю как возмутился! Но тетеньки, которые торгуют на базаре, не возмущаются.

Я выскочил в другую комнату, а оттуда в переднюю, а из передней в уборную. Мне не надо было в уборную, но я там постоял, пока не надумал, что делать дальше. Я решил убежать на улицу. Да только ничего не вышло: в передней стояла мама.

— Дикарь! — сказала она.— У-у, невежа! — «У-у» получается у мамы басом; вы бы услышали — обязательно бы засмеялись. Но я не смеюсь: уже привык.— Иди поздоровайся с человеком. Иди, иди, ничего с тобой не случится,— и потащила за руку.

Долговязый на меня посмотрел и улыбнулся.

— Какой славный парень! — сказал он. — Ты, наверно, отличник?

Вижу — не узнал. Сначала я все же боялся, что он меня узнает, и старался стоять к нему боком. Но скоро перестал опасаться. Я думал о том, что вот сейчас в нашем доме он совсем не такой, как тогда на пляже. Мама встанет — и он встает. А тогда на пляже!.. Получалось, как будто там был совсем другой человек. А этот бы так не сделал. Этот вон что-то говорит, а мама и Мила смеются, и видно, что он им очень нравится. Так как же это получается?

Я здорово над этим голову ломал. Да и было над чем подумать. Плохой он или хороший? А заодно я начал думать о маме, Миле и о себе. И выходило, что хотя мы и хорошие, но бываем и плохие. Вот недавно шел я по лестнице и увидел на ступеньке соседскую кошку. Взял и наступил ей на хвост. Она взвизгнула, взвилась, отскочила и, пока я спускался по лестнице, все мяукала. Если бы кто-нибудь это увидел, то подумал бы обо мне, что я последний негодяй. Так, наверно, и с долговязым тогда получилось.

Он в тот вечер рассказывал смешные истории. Правда, я их на пляже уже слышал, но все равно смешно было, а когда он начал изображать, как один человек у них на работе выступает на собраниях, я засмеялся во все горло. Он на меня посмотрел и подмигнул. И тут я заметил, что долговязый очень похож на одного артиста, который играл в фильме коммерческого директора (я уже не помню, как этот фильм называется). У того артиста тоже все смешно получалось. И я долговязого прозвал про себя коммерческим директором.

Когда он ушел, мама и Мила стали его нахваливать: «Какой воспитанный!» А папа хоть и читал книжку, но все же на них поглядывал и усмехался. Ну ясно, он хороший. Тогда на пляже у него получилось, как у меня с кошкой. И зачем я ей на хвост наступил? Не подумал. Хвост лежал

на ступеньке, и так удобно было на него наступить. Ух ты черт! А еще после того, как кошка закричала, качал головой и делал вид, что не хотел наступить.

Я отрезал в кухне колбасы и пошел искать кошку. Я ее искал и во дворе, и на улице. Но так и не нашел. Я съел колбасу сам.

ДРАКА И МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕВЕЗЕНИИ

Пока я сообразил, что мы деремся, Грищук меня раз пять ударил. Он бы мне еще добавил, если б я не додумался, что надо быть спокойней. Я сделал обман влево и съездил Грищуку в бровь. Наконец-то! Потом я ему еще раз съездил. Подумаешь, боксер!

Но все равно ничего хорошего из этого не вышло. Вдруг появился наш директор, оттолкнул меня от Грищука и начал отчитывать. Он очень сердился, и правое плечо у него дергалось. А Грищук тем временем пятился, пятился и нырнул в толпу ребят. Так уж повелось: если что-нибудь случается, то зачинщиком считают меня.

— Я тебя отстраняю от занятий,— сказал директор под конец.— Иди за родителями.— Он еще раз дернул плечом и ушел. А о Грищуке даже не вспомнил.

Горло у меня перехватило: я боялся, что разревусь на глазах у ребят. Только этого не хватало! Потом будут говорить: «Грищук так отделал Водовоза, что он нюни распустил». Наш отличник Корольков шагнул ко мне и хотел что-то сказать, но я повернулся и побежал к дверям школы.

Я остановился на лестнице в котельную. Сколько раз я видел, как на этой лестнице плачет салажонок, которого обидели. Это место у нас любят все плаксы. А вот теперь я сам стою здесь, а ребята выходят из столовой и смотрят на меня.

Ко мне подошел Корольков.

— Сматывайся! — сказал я. Но Корольков только вздохнул и остался.

— Леня, — сказал он, — это я привел директора.

— Я так и знал, — сказал я.

— Я принес тебе пятак, — сказал Корольков.

Я взял у него пятак и приложил под правым глазом. Корольков смотрел на меня так, как будто это не у меня под глазом болело, а у него. Съездить бы ему за это!

— Пожалуй, одного будет мало, — сказал он. — Я пойду возьму у ребят еще.

Корольков принес еще три пятака и приложил к моему лицу. Мне пришлось их держать двумя руками.

— Ты на меня не сердишься? — спросил Корольков.

— Эх, Корольков, — сказал я, — зачем ты это сделал? Теперь в классе все будут думать, что я слабак.

— Я боялся, что Грищук тебя изобьет, — сказал Корольков. — И вообще пионерам нельзя драться.

— Дурак ты, Корольков! — сказал я. — По-твоему, всем надо спускать?

Корольков переминался с ноги на ногу.

— Леня, — сказал он. — Я тебя прошу, не называй меня ябедой! Ведь я же тебе сам сказал, что привел директора.

Прозвенел звонок на урок, и Корольков начал быстрее переминаться с ноги на ногу.

— Ладно, Корольков, иди, — сказал я, — я тебя не буду называть ябедой.

Когда я вышел на улицу, солнце светило все так же ярко и ничего не изменилось из-за того, что мне в этот день так не повезло. На ступеньке парадного напротив школы грелся на солнышке кот, на проводах чирикали воробьи, а с горки от парка бежали два первачка, и сразу было видно, что они опоздали на урок: лица у них были потные и красные, глаза испуганные, они тяжело дышали и озирались. Наверно, они

опоздали в первый раз, и им казалось, что это большое несчастье. Счастливые первачки, не знают они еще, как может быть несчастлив человек! Что я скажу маме? Только начался учебный год, а ее уже второй раз вызывают в школу. Вот уж не везет, так не везет.

Раньше, когда я читал в книгах о том, что кого-то преследует злой рок, я думал, что такое могло быть только в средние века с рыцарями. Но теперь выходило, как будто и меня злой рок преследует. Я бы так и подумал, если бы не знал, что это предрассудок. Ну взять хотя бы случай, когда моих родителей на прошлой неделе вызвали в школу. Ведь ничего же я не сделал такого... Просто бежал вниз по лестнице, а вверх бежал Димка Чернов из пятого «В», и мы столкнулись. Димка упал и больно ушибся, а меня дежурный учитель отвел к директору. Ну почему не я свалился, а Димка? Если бы я ушибся, тогда бы его послали за родителями.

А сегодня? Я и не собирался драться с Грищуком. Он сам ко мне полез. С тех пор как я на физкультуре прыгнул выше него в высоту, он все время ко мне придирается. Да разве это маме объяснишь!

Так и это же еще не всё. Теперь все в классе будут думать, что я слабак. Попробуй докажи, что если бы не директор, то я бы победил Грищука.

А как я позавчера опозорился! Стоял перед зеркалом возле раздевалки и рожи корчил. Я думал, что меня никто не видит, и хотел попробовать, не получится ли, как у артиста Филиппова. И вдруг слышу смех... Оказывается, Светка Ильина все видела. Она, наверно, девчонкам из пятого «В» об этом рассказала: теперь они, когда встречают меня, посмеиваются. Представляю, как говорят между собой: «Этот Водовоз из пятого «А» с приветом, он перед зеркалом рожи корчит». Ах ты черт! От огорчения я зажмурился. А в это время рядом прогромыхало и меня обдало ветром: это машина проехала. Я и забыл, что перехожу улицу.



Я вспомнил, как Валерка Киселев из пятого «Д» недавно попал под машину. Его послали за родителями, и по дороге домой с ним это случилось. Теперь он лежит дома с ногой в гипсе, классный руководитель ходит его навещать, а о том, что Валерка на спор вышиб головой стекло, даже и не заикается.

Я медленно переходил улицу и не смотрел ни вправо, ни влево. Когда я уже подходил к тротуару, то услышал, как взвизгнули тормоза. Из кабины «газика» выскочил шофер со злым лицом и съездил мне по шее.

— Ты, малахольный,— сказал он,— а мне за тебя в тюрьму садиться, да?

Ну вот: еще и по шее досталось! Может быть, наука когда-нибудь объяснит, как это получается: если уж человеку не везет, так тут что угодно делай, а все равно ничего хорошего не выйдет. Настроение у меня совсем испортилось. Ну-ка, какие еще беды меня сегодня ждут? Я готов ко всему. А домой не пойду. Ну его... Я вспомнил, что у меня в кармане четыре пятака, и решил сначала напиться газировки, а потом сходить в кино.

В кино я сходил за десять копеек. Потом на пятак купил семечек и лузгал их в парке. Какой-то дяденька попросил меня помочь нести большой фанерный щит. Мы принесли щит на овощную базу, и дяденька дал мне двадцать копеек. Я сначала не хотел брать, но он рассердился: «Раз заработал, так бери. Ишь какой гордый!» Я купил два пирожка и вернулся в парк.

Когда я пришел домой, уже темнело. В столовой сидели

папа, мама и наш классный руководитель Ольга Гавриловна. Мама посмотрела на мое лицо и закусила губу. И началось.

— Ты знал, что дома волнуются? — спросил папа. — Или тебе это не приходило в голову?

Они долго об этом говорили, и все были одного мнения, что мне это не приходило в голову. Потом меня начали спрашивать, что я себе думаю. Дурацкий вопрос! Ну что человек может ответить, если его спрашивают: «Что ты себе думаешь?» Я молчал. Но скоро я понял, что мне не отмолчаться. Я сказал: «Он первый полез».

Они долго вели со мной беседу. А мне хотелось есть и было скучно. Я заметил, что у Ольги Гавриловны смешные уши: на пельмени похожи. Если ты что-нибудь натворил, то самое неприятное — это когда ты являешься домой: стыдно. А потом, когда тебя прорабатывают, уже не страшно. Ну подумаешь, проработают еще раз! Куда от этого денешься?

После ухода Ольги Гавриловны мама повела меня в ванную и велела умыться теплой водой. Она ощупывала мое лицо, спрашивала: «Он тебе ничего не повредил?», вздыхала и говорила, что мне нужны совсем не такие родители, что мне нужны родители, которые бы меня пожестче наказывали, потому что я не умею ценить хорошего отношения. Я сказал: «В чем дело?! Накажите меня».

Мама рассердилась и вышла из ванной.

КАК ТРУДНО БЫТЬ УМНЫМ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ПАЗУХОЙ. ТАЙНА УЧИТЕЛЯ ТАНЦЕВ

Я должен побить Грищука. Не допущу я, чтобы в классе думали, будто я слабак. Я решил тренироваться каждый день. Боксерских перчаток у меня нет, так я надеваю варежки и бью в валик дивана. Раз! Раз!

Неожиданно в дверях появился коммерческий директор.

— Ищу мужское общество,— сказал он.— Женщины ушли на кухню стряпать пельмени, а меня отослали к тебе.

Он подошел ко мне, нагнулся и долго рассматривал мое лицо.

— Понятно,— сказал он.— Противник оказался более техничным. Ты мне можешь его показать, и я с ним посчитаюсь.

— Нельзя,— сказал я.— Я в это дело взрослых не вмешиваю. Я сам с ним рассчитаюсь.

Он шлепнул меня по плечу:

— Ты благородный парень. За дело! Я за два часа сделаю из тебя боксера.

Он снял пиджак и стал в стойку. Я тоже попробовал, но у меня вышло совсем не то.

— Чудесно!— сказал он.— Только эту ногу вот так, а плечо вот так, подбородок вот так.— Он отошел и посмотрел, как я стою.

— Восхитительно!— сказал он.— Противник твой уже деморализован. Остается его нокаутировать.

Потом он меня учил, как двигаться приставными шагами. Потом мы разучивали прямой удар. Потом серию: раз, раз — два.

Коммерческий директор был от меня в восторге:

— Какое чувство дистанции! Какая реакция! Ай, ай, ай!

Он водил рукой с обмотанным вокруг кулака полотенцем, а я от его слов так разошелся, что лупил в руку как заводной. И вдруг — бац!— коммерческий директор съездил мне по переносице.

— А защита!— закричал он.— Не забывай о защите. Однажды Джо Луис забыл о защите, и его чуть не нокаутировал Пелико. Не больно?

Я замотал головой, хотя мне было больно, а из глаз текли слезы.

— Ну и хорошо,— сказал он.— Боксер не должен бояться боли.

Я опять начал наседать на его руку с полотенцем. Я ее атаковал снизу и сверху, слева и справа, я ее колошматил, дубасил, я ее загонял в угол, а из угла к окну, я носился за ней, как собака за курицей. Левой, правой — вот это бокс! Но я опять забыл о защите. На этот раз он меня ударил в синяк под глазом. Опять потекли слезы. Еще подумает, что я плачу.

— Защита! — закричал коммерческий директор.— Я же тебе говорил, что произошло с Джо Луисом.

Он повесил на спинку стула полотенце и похлопал меня по плечу.

— Талант! — сказал он.— Люблю талантливых людей.

Нас позвали обедать. За обедом коммерческий директор говорил, что восхищен моим боксерским талантом. Мама испугалась. Она сказала:

— Вы видите, какое у него лицо? Я вас прошу, тренируйте его лучше по бегу.

Коммерческий директор кивнул. Он сказал, что уверен в моем спортивном таланте: не бокс, так бег.

— Ты,— сказал он мне,— прямо-таки создан для бега.

— Откуда вы знаете?— спросил я.— Мила вам сказала, что я победил в классе на тысячу метров?

— Она мне этого не говорила. Мне достаточно было взглянуть на твои ноги, чтобы понять, что ты прирожденный бегун. А ну покажи мышцы.

Я задрал штанину.

— Ну конечно,— сказал коммерческий директор.— Я так и думал. Великолепные длинные мышцы. Это мышцы средневика.

— Я и в высоту выше всех прыгаю,— сказал я.

— Ну понятно,— сказал коммерческий директор.— У меня дома есть хронометр. Хочешь, сделаем прикидку?

Я обрадовался. Мне нравится бегать на время. Только бы не опозориться. Он говорит, что у меня талант, а вдруг окажется, что никакой не талант, а так себе, чепуховина, о которой и говорить не стоит.

После обеда мы с коммерческим директором пошли к нему домой.

Его узенькая комната выходила окном на улицу. У окна стояла большая ваза, и из нее торчала веточка сосны; кроме вазы, в комнате еще были шифоньер, диван-кровать, круглый стол и столик с приемником «Рекорд».

— Вот это мой дом, синьор,— сказал коммерческий директор.— Вот это моя кровать, а это моя музыкальная шкатулка.

Мне понравилось, что он назвал приемник музыкальной шкатулкой.

— А это,— сказал коммерческий директор,— портрет моей мамы. Она живет в другом городе.

— А портрета папы у вас нет? — спросил я.

— У меня нет папы,— сказал он.— Видишь ли, я сирота от рождения. Угу, так бывает. Был бы у меня папа, так был бы и портрет.

Я вздохнул.

— Ну, ну,— сказал он,— это я так... Я ведь уже взрослый.

Он захохотал. Я не понимал, почему он хохочет, а он положил мне руки на плечи и заглянул в глаза.

— Твоя сестра чудесная девушка,— сказал он.

— Она хорошая,— сказал я.— Только иногда воображает: когда я был маленький, она не хотела со мной ходить в кино.

Он хохотал.

— И еще,— сказал я,— она не любит рано вставать.

— Предатель! — сказал коммерческий директор.— Ну зачем же ты рассказываешь такое о сестре?

Наверно, я покраснел: лицо у меня горело.

— Я не хотел,— сказал я.— Само получилось.

Он опять захохотал. И чего он хохочет?

— Надо быть умным,— сказал он.— Знаешь, что это значит? Сначала подумай, а потом скажи.

Мне было неловко: я подошел к открытой дверце шифоньера и начал перебирать галстуки на шнурке. Я цокал языком, как будто разбираюсь в галстуках. Я думал о том, что теперь коммерческий директор будет меня презирать. И хотя он мне только что сказал, как надо себя вести, чтобы быть умным, я опять глупость ляпнул:

— А мне раньше казалось, что вы плохой.

— Да? А почему?— спросил он.

— Потому что...— сказал я.— Потому что в прошлом году вы меня... ну, в общем, побили.

— Не понимаю,— сказал он.— Ты что-то фантазируешь.

— На пляже,— сказал я.— Мячами...

И зачем я начал об этом говорить? Когда я набрался духу и посмотрел на коммерческого директора, он сидел за столом, закрыв лицо руками.

— Я сразу тебя узнал,— сказал он тихо.— Но я надеялся, что ты не будешь об этом вспоминать. То был самый тяжелый день в моей жизни. Я после того всю ночь не спал.

— Не переживайте!— сказал я.— Пожалуйста, не переживайте! Я все понимаю. Это может случиться со всяким.

— Ты так думаешь?— Он оторвал руки от лица и посмотрел на меня.

— Да,— сказал я.— Вот у меня был случай с кошкой.— И я рассказал, как наступил кошке на хвост.

— М-да,— сказал он.— Возможно, ты прав. Да-да, ты прав. Ты, оказывается, умница. Ты никому об этом не говорил?

— Нет,— сказал я.— Зачем?.. Вы не беспокойтесь.

— Спасибо!— сказал коммерческий директор.— Ведь ты

же видишь, что я на самом деле не такой уж плохой. Правда?

— Правда,— сказал я.

— Нет, не правда!— сказал коммерческий директор.— Мне нет оправдания. И как я мог это сделать?! Когда-нибудь ты об этом расскажешь и будешь прав.

Он так сокрушался! Он обхватил голову руками и покачивался.

— Пожалуйста, не переживайте,— сказал я.— Я никому не скажу. Ну, раз такое случилось, то постарайтесь забыть. Вот со мной однажды было...

Я рассказал, как мы с Толиком Сергиенко выманили двадцать копеек у Славика Уточкина. Этот Славик совсем еще малыш. И такой чудной! Встретит тебя и обязательно спросит: «А ты катался на машине?» Он все время о машинах думает. И тогда он нас спросил: «А вы катались на машине?» Мы сказали: «Катались, и тебя сейчас покатаем». Толик посадил Славика на плечи и стал гудеть, как машина. Он его провез по улице. А потом я провез. После этого мы ему сказали: «Ну вот, мы тебя покатали, плати за проезд». Славик задумался, а мы испугались, что он не отдаст двадцать копеек, разжали ему пальцы и забрали монетку. Славик ничего не сказал, он только грустно смотрел нам вслед — я два раза оборачивался. И зачем? Лучше бы мне не видеть, как он на нас смотрел.

Я все это рассказал коммерческому директору, а он кивал и говорил, что очень хорошо меня понимает.

— Вот так и у меня получилось,— говорил он.— Само.

— Само,— сказал я.— Просто непонятно, как это получилось.

— Непонятно, непонятно,— кивал он.

И хотя мы с ним так болтали, мне было не по себе. Я жалел, что начал этот разговор.

Коммерческий директор взял секундомер, и мы вышли на улицу. Я старался не встречаться с ним глазами.

— Ну что, на тысячу? — спросил он.

Я кивнул.

— Беги по правой стороне, — сказал он. — Возле газетного киоска свернешь, добежишь до гастронома, а потом обратно.

— И это тысяча? — спросил я.

— Не сомневайся. Сам отмерял. Я ведь тоже когда-то бегал. На старт!

— А откуда? — спросил я. — От дерева или от фонаря?

— Ах да, — сказал он, — от фонаря. На старт!

Люблю бегать. Если у тебя хорошие ноги, то шлепать ими по земле одно удовольствие. Они послушны, как дрессированные лошади, и им очень хочется показать, на что они способны. Они мелькают, выкаблучиваются, задаются; им кажется, что они самые быстрые на свете. Но это до тех пор, пока они не устанут. После этого они уже не такие задорные, они уже трудятся посерьезнее, напрягаются, только что не кряхтят.

Когда я начал бег обратно от гастронома, им уже было не до форсу, они уже ступали не на носки, а на всю ступню и их уже надо было понукать. Теперь я уже начал посматривать по сторонам и заметил, что на меня обращают внимание. Две девчонки выбежали из магазина и прыснули; какой-то малый в окне трамвая показывал мне, чтобы я догонял трамвай. Я понял, какой у меня дурацкий вид.

И вот тогда я вспомнил, как дружок коммерческого директора на пляже говорил о толстячке, который сначала, когда его били мячом, не плакал, а заплакал потом. Значит, коммерческий директор меня не первого лупил! Так почему же он говорил, что тот день был самым тяжелым в его жизни, что он всю ночь после этого не спал? Притворялся!

Потом мои родители и Мила говорили, что я совершил нелепый поступок. Кто так поступает? Я не вернулся к

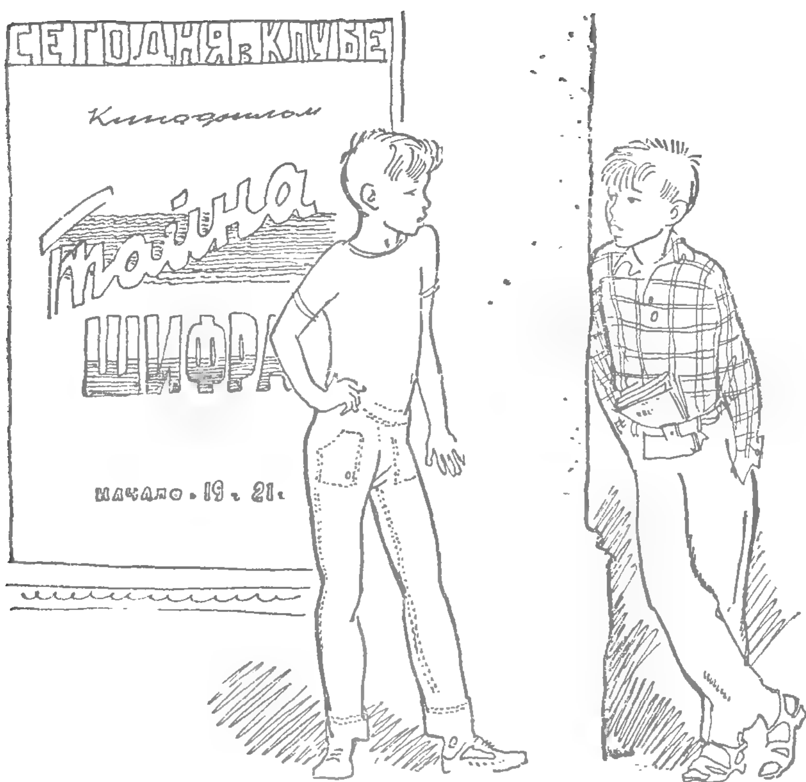
коммерческому директору: повернулся и медленно пошел в другую сторону.

Со мной такое бывает: вдруг человек, которого я считал хорошим, кажется мне уже совсем никудышным.

Однажды я подружился с Венькой Семеркиным из нашей школы. Я тогда учился в четвертом «Б», а он — в четвертом «В». Два дня мы с ним дружили, и я эти два дня после занятий до вечера у него торчал. Мне казалось, что он славный парень. Но на второй день, когда я от него возвращался домой, я вдруг подумал, что он гад, и больше уже к нему не ходил. Этот Венька в самом деле неважный человек: все время он предлагал меняться. Мы ремнями поменялись, авторучками, но так уж получилось, что его авторучка не писала, а ремень был совсем старый. Если б у меня был старый ремень, я б его не стал кому-то всучивать. Разве это по-товарищески?

Я шел по каким-то улочкам, сам не зная куда, и думал о том, что коммерческий директор посмеялся надо мной: притворялся, что переживает из-за того случая на пляже, послал меня, как дурака, бегать по улице, а расстояние никогда не отмерял. Все время он надо мной потешался: и когда по боксу тренировал и два раза по лицу съездил, и когда хвалил мои мышцы на ногах. До чего же неприятно оставаться в дураках! Ну да ладно, пусть он меня ждет. Долго будет ждать. Я вот сейчас пойду домой и расскажу Миле, какой он. Пусть он теперь попробует к нам заявиться.

Но скоро я понял, что только делаю вид, что тороплюсь обо всем рассказать, а на самом деле мне не очень-то хотелось это делать. Ну как я об этом скажу? Ведь это же была игра. И еще вот что меня смущало: выходило, что когда я с ним тренировался по боксу, то он был хороший, и когда домой к нему пошел, тоже был хороший, а теперь приду и скажу... Ну что я скажу?..



Я долго бродил по улицам. Я вспоминал, как рассказывал коммерческому директору про кошку и про то, как мы с Толиком Сергиенко выманили двадцать копеек у Славика Уточкина; как утешал его, когда он притворялся, что переживает. Ух ты черт! Кто-то рядом со мной засмеялся. Я поднял глаза и увидел парня ростом с меня. Руки он держал в карманах, а грудь выпячивал.

— Чего трясешь головой? — спросил он.

Я не стал отвечать. А он все рассматривал мое лицо и шевелил губами. Наверно, считал синяки.

— Где фонари подхватил?

И тут меня потянуло врать. Не мог же я ему сказать, что меня один человек так отделал.

— А! — сказал я и сделал вид, что мне это нипочем.— Ночью небольшая драка была. Их было трое.

— Всего?

— Ну, это сначала,— сказал я.— А потом еще двое подбежали.

Мы стояли возле клуба швейников. В окне были выставлены разные картинки, и я рассматривал ту, на которой была нарисована тетенька в коричневом платье. Она рада была платью и улыбалась, как именинница. Потом я решил: раз мы молчим, то пойду-ка я дальше. Но только я шагнул, как этот чудной малый ухватил меня за рукав.

— Стой,— сказал он.— Сейчас киношку понесем. Потом бесплатно смотреть будем.

Он мне понравился. Видно было, что он бывалый. Он сказал, что его зовут Пазуха и что он учится в шестом классе, в семнадцатой школе. Мы с ним болтали, пока из подъезда клуба не вышел парень с тоненькими усиками. В одной руке парень нес большую коробку, в другой — перевязанную шпагатом стопку банок, в каких киноленты держат. Пазуха, как только его увидал, сразу начал орать:

— Что, вышел, да? А мы не понесем!

Вот чудак! Только что меня остановил, чтоб нести, а теперь кричит — не понесем.

— А, вас уже двое,— сказал парень с усиками.— Ну как хотите. Не понесете, так и не надо.

— Не уговаривай! — закричал Пазуха, хоть парень с усиками и не думал его уговаривать, а покуривал себе сигарету и посматривал на небо.

— Если б было про шпионов,— сказал Пазуха,— то мы бы понесли, а то ведь не про шпионов. Ведь врешь, что про шпионов.

— Не веришь — не надо,— сказал парень.— Я тебе говорю, что про шпионов, а ты не веришь. Ну и не неси.

— И не понесу! — сказал Пазуха.

Парень не стал ему отвечать.

— Вот трепач! — сказал Пазуха.— Врет ведь, что про шпионов. Ну да ладно, поверим.

Мне досталось нести коробку. Она была тяжелая. Пазуха по дороге все время орал на парня. Он его обзывал вруном, трепачом, свистуном, звонарем. Он два раза ставил стопку на тротуар и кричал, что все — дальше не понесет, потому что знает, что кино не про шпионов. Но потом он опять подхватывал стопку, и мы шли дальше.

Мы подошли к клубу строителей, и парень взял у меня коробку, а у Пазухи стопку и понес их сам по лестнице. Пазуха смотрел ему вслед.

— Гришка, гад! — закричал он.— Опять надул, да? Ну, смотри у меня!

Гришка не обернулся.

— Подождем,— сказал Пазуха.— Может, и про шпионов.

Мы с полчаса погуляли, а потом пошли смотреть кино. Нас пропустили без билетов.

Кино оказалось не про шпионов. Мы с Пазухой переговаривались, смеялись. На нас шикали. Скоро нам все это надоело, и мы вышли из зала. На улице Пазуха сказал:

— Может, послезавтра будет про шпионов. Приходи, понесем.

Он мне нравился: с ним было интересно.

— Знаешь что,— сказал я Пазухе,— переходи в нашу школу, или давай я перейду в вашу, и мы с тобой подружимся.

— Посмотрим,— сказал Пазуха.— Может, я с тобой и подружусь... Со мной многие хотят дружить.

Он бы мог этого не говорить. Я и так видел: парень он что надо.

— Деньги у тебя бывают? — спросил Пазуха.

— Полтинник! — сказал я.

— Каждый день?

Я кивнул, потому что вслух соврать не мог.

— Не жирно, — сказал Пазуха. — Это не фонтан.

— Пазуха, — сказал я, — я еще стихи писать умею.

— Стихи писать?! — Пазуха вытаращился на меня.

Всем в классе нравится, что я пишу стихи, я думал и Пазухе понравится.

— Да ты, гад, знаешь, что делаешь?! — закричал Пазуха.

— Да в чем дело, Пазуха? — спросил я.

— Тебе что!.. — сказал Пазуха. — Ты написал и забыл, а другим учить придется. Ну пусть бы двойку поставили. После уроков же оставляют!

Ну и разозлился же он!

— Я всех поэтов у себя в учебнике замазал и тебя видеть не хочу. — Он плюнул мне под ноги и ушел.

И зачем я сказал, что пишу стихи?

У меня была бабушка. Она умерла, когда я учился в третьем классе.

Бабушка была любопытной, подслушивала чужие разговоры. Бывало, выйдет на балкон и слушает, о чем говорят у соседей.

Меня она совсем не стеснялась. Как-то я сказал бабушке, чтоб она не подслушивала, а бабушка нажаловалась маме, что я с ней грубо разговариваю.

И вот так получилось: я в тот вечер тоже подслушал чужой разговор.

Я вошел в наше парадное и только стал подниматься по лестнице, как слышу:

— Вот это их квартира, пятая.

Пятая квартира — это же наша! Я стал прислушиваться. Другой голос спросил:

— А какое мне время лучше всего выбрать? Когда она бывает дома?

— Не знаю, не знаю.— Я узнал голос. Это говорил студент Сергей. Его квартира этажом выше нашей.

— Не я же в нее влюблен,— сказал студент Сергей.— Это ты, влюбленный человек, сам должен выяснить; я тебя сейчас представлю его маме. Парень весь в двойках по арифметике — она у меня уже два раза спрашивала, когда ты придешь.

— Потом,— ответил незнакомый голос.— Сейчас мне не хочется разговаривать с мамашей.

— Что, боязно, учитель танцев?— спросил Сергей.— Не трусь.

Они еще что-то говорили, но плохо было слышно. Хлопнула дверь — они вошли в квартиру Сергея.

Я знал, что мама просила Сергея подыскать мне репетитора. Значит, человек, который разговаривал с Сергеем, будет со мной заниматься. Но почему Сергей говорил ему, чтобы он не трусил, и почему назвал его влюбленным? Сначала я этого не мог понять. Но когда поднялся на площадку, где наша квартира, за дверью раздался Милин голос. И вот тут мне стало все понятно: человек, который разговаривал с Сергеем, влюблен в Милу — вот что! Я решил посмотреть на него. Спустился вниз и стал ходить возле парадного. Интересно, какой он? Все, все я понял. Вот только мне непонятно было, почему Сергей его назвал учителем танцев, он же со мной будет заниматься арифметикой.

Я долго ждал. Если б я знал, что из этого всего получится, я бы, конечно, не стал ждать. Я даже не успел как следует рассмотреть учителя танцев — не до того было: студент Сергей сразу же начал меня отчитывать.

— Вот он,— сказал Сергей,— этот двоечник. Это с ним ты будешь заниматься.

Еще ни разу меня двоечником не называли. Вообще-то

Сергей хороший парень, но с тех пор как стал студентом, завоображал. Теперь, когда он меня встречает на лестнице, всегда говорит одно и то же: «А, это ты». Когда он учился в школе, он таким не был. Мы с ним даже немного дружили. Я помогал ему убегать с последнего урока. Он выбрасывал свой портфель из окна, а я этот портфель подбирал и ждал Сергея за углом. Но теперь он, видно, этого не помнит. Я улыбнулся Сергею. Я улыбнулся ему точно так, как улыбался, когда возвращал ему портфель. Я думал, он это вспомнит. Но он не вспомнил. Он сказал:

А я бы на твоем месте не улыбался. Ты приносишь много огорчений родителям. Уроки сделал?

Я ответил:

— Не все.

— Вот видишь,— сказал он.— Что же ты прохлаждаешься? А ну домой!

Это уж он слишком. Я ответил:

— Не твое дело! Ты что, моя бабушка?

Учитель танцев засмеялся, а Сергей пробормотал, что придется ему поговорить с моей мамой. Что за человек такой? Самого же во время экзаменов запирают в комнате, чтоб не ходил на футбол. Жаль, я ему этого сразу не догадался сказать. Когда мне это пришло в голову, студент Сергей и учитель танцев были уже далеко. Глупо вышло: целый час ждал возле парадного, чтоб меня двоечником назвали.

Дома все трое — мама, папа и Мила — долго смотрели на меня молча. Ну и лица! Вряд ли можно описать, какие у них были лица. Хорошо бы нарисовать.

— Вот он,— сказала Мила.— Вот он, сверхъестественный человек. Ну как ты мог такое сделать?

Папа пожимал плечами.

— У-у!— сказала мама.— У-у, бессовестный! Человек так хорошо к нему относится, а он оставил его с секундомером, а сам убежал.

Они удивлялись. Они говорили, что я способен на такие поступки, какие нормальному человеку даже в голову не придут. Зато коммерческим директором они прямо-таки восхищались. Мама сказала:

— А Валентин еще беспокоился. Два раза прибегал узнавать, вернулся ли ты домой. Где ты был?

— В кино,— сказал я.

Мама всплеснула руками. Мила захохотала.

— Как дурачок,— сказала она.— Ну чего ты улыбаешься?

А что мне было делать. Не мог же я им все объяснить. Просто язык не поворачивался.

Я поужинал, и меня сразу же усадили делать уроки. Мама то и дело заглядывала в мою комнату, чтобы проверить, занимаюсь ли я. Я делал вид, что пишу или читаю. А на самом деле я думал о том, каким глупым я был в этот день. Я стал считать, сколько раз я сделал или сказал что-нибудь глупое: выходило уж очень много. Это хорошо над другим подсмеиваться. В нашем классе, например, все над Генкой Зайцевым смеются, потому что Генка Зайцев глупо улыбается и часто ни с того ни с сего выкрикивает: «Дай руку, товарищ далекий!» или: «Я вернусь к тебе, моя Маруся!» Я сам ему не раз говорил: «Эх ты, дурачковский!» Ну, а если тебе такое скажут? Идешь ты, допустим, по улице, а о тебе говорят: «Вон идет дурак». Обидно.

Я вышел в другую комнату. Там мама рассказывала Миле о том, как поругалась с продавцом в магазине из-за того, что продавец отрезал ей сыр не с той стороны, с какой мама хотела.

Мама очень подробно об этом рассказывала. Ну о чем они говорят?

Мама заметила, что я усмехаюсь.

— А ты перестань!— сказала она.— Легче всего над матерью смеяться. Ты попробуй двойки исправить.

Мама — отсталая женщина: она занимается сватовством.

Сосватала дочь своей подруги Сонечки за Яшу Котика из соседнего дома. Теперь они живут припеваючи и должны всю жизнь быть благодарны маме.

Я хмыкнул и пошел в свою комнату. Легче стало. А то ведь чувствовал себя таким дураком, что хоть плачь.

БЕСЕДА О ПРИНЦИПАХ. Я ВОЗВРАЩАЮ ДОЛГИ. МОЙ БЫВШИЙ ДРУГ ТОЛИК СЕРГИЕНКО

Вот чудеса! Ко мне заявился Параскевич. По-моему, он еще ни к кому из нашего класса не приходил. Он же всегда занят. Он перворазрядник по шахматам и ходит в кружок юных математиков во Дворец пионеров. Параскевич почему-то хмурился, и такой у него был вид, как будто я в чем-то перед ним виноват.

В соседней комнате мама как раз спорила с Милой о том, можно ли есть селедку на закуску, если на второе подается рыба. Параскевич поморщился.

— Водовоз,— сказал он,— закрой, пожалуйста, дверь: меня не интересует, о чем говорят в вашем доме.

Я закрыл дверь. Мне казалось, что я очень глупый, раз сам не догадался закрыть дверь. То ли дело Параскевич! Он все знает.

— Параскевич, как дела?— спросил я.

— Водовоз,— ответил Параскевич,— не задавай глупых вопросов. Я с трех лет таких вопросов не задаю. Если ты хочешь что-нибудь спросить, спрашивай конкретно.

Параскевич сел на стул и задумался. Думал он о серьезном и важном, это было видно по его лицу. Ему небось приходят в голову такие мысли, какие мне ни за что не придут. Всем известно: Параскевич — вундеркинд. Он вот знает, какие вопросы нужно задавать, а какие нет, а я задаю любой

вопрос, какой в голову придет. Как же это я раньше не мог понять, что есть такие вопросы, которые не задаются?

Параскевич вздохнул, строго посмотрел на меня и сказал:

— Водовоз, я пришел поговорить с тобой о принципах. Ты в состоянии говорить о принципах?

Я подумал: хоть Параскевич и умник, но я постараюсь не ударить в грязь лицом — я ведь тоже не дурак и очень люблю умные беседы.

— Параскевич,— сказал я,— я не знаю, о каких принципах ты будешь со мною говорить, может, об этих принципах мне ничего не известно, но я постараюсь. Говори.

Параскевич улыбнулся. Недаром мама как-то сказала, что у него тонкая улыбка и по одной этой улыбке можно определить, что Параскевич вундеркинд. Мне стало не по себе, когда Параскевич улыбнулся. На него просто опасно смотреть. Посмотришь — и уже дураком себя чувствуешь.

— Водовоз,— сказал Параскевич с грустью,— я как раз собираюсь говорить о принципах, о которых тебе ничего не известно...

В общем, говорил один Параскевич. А я только отвечал и под конец даже заикаться начал.

— Водовоз,— говорил Параскевич,— известно ли тебе, что первейший принцип каждого человека — это принцип порядочности. Согласно этому принципу, ты обязан возвратить деньги, взятые в долг. Подумай, Водовоз: не должен ли ты кому-нибудь?

Я подумал и ответил:

— Нет. Никому. Ни копейки.

Параскевич опять тонко улыбнулся.

— Водовоз,— сказал он,— ты хорошо подумай. То, что происходит сейчас в твоих мозгах, совсем не мышление.

— Но я не должен! — сказал я.— Честное слово!

— Ну хорошо,— ответил Параскевич,— я тебе напомню. Что принес тебе Корольков, чтобы приложить к синякам?

Вот тут я начал заикаться.

— Водовоз, где эти деньги?! — спросил Параскевич.

— Но, Параскевич,— сказал я,— это такая мелочь, я их истратил. Я совсем не думал... Хочешь, я тебе дам рубль?

— Ты хочешь подарить мне рубль? — Параскевич все еще тонко улыбался.— Спасибо, спасибо, Водовоз. Но ты бы все же мог догадаться, хоть у тебя и нет принципов, что я не нуждаюсь в твоем рубле.

— Ну хорошо,— сказал я.— Не хочешь рубль, давай я тебе принесу кусок кулебяки. У нас очень вкусная.

Параскевич захохотал. Он говорил:

— Водовоз, ты уморил меня. Ты хочешь вместо пятака принести мне кулебяку? Это восхитительно, Водовоз! Когда я расскажу об этом дома, мне не поверят.

Я объяснил Параскевичу, что это вовсе не вместо пятака, что кулебяку я ему принесу просто так, чтоб загладить вину, а пятак само собой.

— Понимаю,— сказал Параскевич.— Наконец я уловил ход твоих мыслей. Что ж, когда меня угощают, я не отказываюсь. Зачем обижать хозяев?

Я пошел на кухню, отрезал большой кусок кулебяки и принес Параскевичу. Но он только взглянул на кулебяку и улыбнулся. Он сказал:

— Водовоз, я надеюсь, что ты по рассеянности не положил кулебяку на тарелку.

Я пошел опять с кулебякой на кухню. Я положил кулебяку на тарелку, достал из ящика буфета салфетку и положил ее рядом с кулебякой.

Я вернулся в комнату.

Параскевич взял у меня из рук тарелку, поблагодарил; салфетку он убрал с тарелки на стол и стал есть. Ел он с аппетитом. Когда съел, вытер салфеткой губы, еще раз по-

благодарил и вдруг встал, подошел к двери той комнаты, где были мама и Мила, постучал, вошел и стал благодарить маму и Милу за кулебяку. Мама сказала: «На здоровье, деточка» — и погладила Параскевича по голове. Конечно же, она была в восторге от Параскевича. И откуда у Параскевича столько принципов? Где он их только берет? Нет, как бы я ни старался, никогда я не смогу быть таким.

Параскевич вернулся в мою комнату. Он не забыл закрыть за собой дверь.

— Водовоз, — сказал он, — если у тебя сейчас нет пятака, я могу подождать.

Я ответил, что пятака у меня нет, но есть двадцать копеек. Но он двадцать копеек брать отказался. Тогда мы пошли на улицу разменивать.

Я разменял двадцать копеек в магазине, где продают соки и фрукты. Параскевич положил пятак в карман.

— И запомни, Водовоз, — сказал он, — когда речь идет о принципах, мелочей не существует.

Потом Параскевич достал из кармана деньги и купил два стакана сока. Мы выпили сок, и Параскевич спросил:

— Ты понял?

Я кивнул, хоть ничего и не понял.

— Водовоз, — сказал Параскевич, — разреши мне угостить тебя еще трубочкой с кремом?

Он повел меня к тому углу, где продаются трубочки, и купил по одной себе и мне.

Он опять спросил:

— Ты понял?

— И опять я кивнул. Не мог же я сказать ему, что ничего не понял!

— Нет, ты не понял, — догадался Параскевич. — Я покупаю это все для того, чтобы ты не подумал, будто я жадный.

Все у Параскевича получается тонко, так загадочно, что ничего не поймешь. Я заметил, что трубочку он ест не так,



как я. Он сначала обгрызал ее, обдирал слой за слоем, а когда оставался всего один слой вафли, начинал откусывать с конца. Это он здорово придумал! Под конец самое вкусное остается.

— Параскевич,— спросил я,— а как ты ешь бутерброд с колбасой?

— Я сначала откусываю с той стороны, где хлеб потолще, а колбаса потоньше.

— А когда ты ешь пирожки, ты на начинку смотришь? — спросил я.

— Конечно,— ответил Параскевич. — Только нелюбознательный человек может съесть пирожок, не поинтересовавшись, как выглядит начинка.

— А сосиски?— спросил я.— По какому принципу ты ешь сосиски?

— Я их чищу постепенно,— ответил Параскевич.— Если сразу очистить, неудобно держать и сок течет по пальцам.

— И я, Параскевич! Я точно так же!— крикнул я.— А кожицу отдаю собаке...

— Не кричи,— поморщился Параскевич.— Я кожицу кошке отдаю. По-моему, нет смысла отдавать кожицу собаке: для нее это слишком мало.

Мы еще долго с Параскевичем говорили. Мы обсудили, как лучше есть манную кашу и яйца всмятку, потом, как лучше начинать купаться — сразу нырять или постепенно входить в воду. Все у Параскевича было продумано. Не встречал еще такого человека!..

Мы пошли прогуляться по парку, и, когда проходили мимо детской площадки, Параскевич меня удивил: уселся в лодочку для самых маленьких и меня пригласил:

— Ну-ка, Водовоз, давай развлекаться.

Мне неудобно было — кругом малыши с мамами и бабушками, но я все же сел. Мы стали раскачиваться.

— Сильней! Сильней! — приговаривал Параскевич.

Да он ли это? Можно было подумать, что это какой-то первачок резвится. Две девчушки смотрели на нас: одна держала палец во рту, а другая смеялась и подпрыгивала, наверно представляла, что и она с нами раскачивается. Вот уж неловко было мне! Я несколько раз говорил «хватит», но Параскевич приговаривал: «Еще, Водовоз! Еще!» Наконец он накатался.

— Хорошее занятие,— сказал он.— Отвлекает от забот.

Параскевич мне все больше нравился. Я подумал: хорошо бы подружиться с ним.

— Хочешь, будем вместе строить штаб?— предложил я.— Мы с Толиком Сергиенко в прошлом году построили, но он уже завалился.

— Что?— спросил Параскевич.— Штаб?

— Штаб,— сказал я.— Яма, а сверху доски.

— Водовоз,— спросил Параскевич,— у тебя что, есть пушки?

Я ответил, что нет у меня пушек.

— Тогда, может, у тебя есть войско?— спросил Параскевич.— Может, ты полководец?

Я ответил, что я не полководец.

— Вот видишь,— сказал Параскевич.— Так зачем же тебе штаб? Сразу видно, что ты не подумал как следует. Это же бессмысленное занятие.

Я вздохнул. Толик Сергиенко умный парень, но ни ему, ни мне не приходило в голову, что строить штаб бессмысленно. Нам интересно было. Мы долго копали яму, потом доски для крыши доставали. Некоторые во дворе стащили, некоторые от забора отодрали. А какое у нас настроение было, когда мы штаб покрыли и начали лазить в него через

узенький люк! Мы чуть ли не обнимались от восторга. Скоро мы сами сделали стереотрубу. Мы высовывали ее и смотрели, что творится на земле. Ходили люди, бродили собаки, куры совсем близко подходили к нашему штабу. Мы были почти что невидимками.

— Ну, до свиданья, Водовоз,— сказал Параскевич.— Приходи ко мне в гости. Кстати, два пятака для тебя передал Родионов, а еще один Лапушкин.

Вот тебе на — ушел! А я-то думал, что мы подружились.

Я смотрел вслед Параскевичу. Легко ему, наверно, живется. Все он знает: как надо поступить, а как не надо, что имеет смысл, а что бессмысленно. Счастливый Параскевич!

После ухода Параскевича я на него разозлился. Подумаешь, вундеркинд! Зря я ему позволил так разговаривать со мной, поучать, как маленького. Я вспомнил, что Параскевич ни разу ни с кем не подрался. А еще воображает! В общем, я решил, что Параскевич хоть и вундеркинд, но все же трус и воображала. Я подумал: надо будет ему завтра в школе это сказать.

Но долги свои Лапушкину и Родионову я решил сейчас же отнести. Я даже заторопился, и, пока шел к Лапушкину, мне казалось, что и Лапушкин и Родионов в это время обо мне плохо думают и, может, даже дома говорят о том, какой я нечестный парень.

Лапушкина я увидел на улице. Он недалеко от своего дома стоял с друзьями.

— Лапушкин, привет! — сказал я.— Получай свой пятак.

Лапушкин посмотрел на пятак в моей руке.

— Ты чего? — спросил он.— Чего ты мне свои медяки суешь?

— Лапушкин,— сказал я,— может, ты уже забыл, что передал с Корольковым пятак для меня?

— А! — вспомнил Лапушкин.— Ну давай.

Он взял пятак, положил в карман и отвернулся от меня. Зачем я ему был нужен? Рядом с ним стояли трое друзей. Лапушкин опять начал с ними разговаривать. Но не успел я отойти от них и на пять шагов, как Лапушкин окликнул меня.

— Водовоз,— сказал Лапушкин,— у нас к тебе дело есть. Понимаешь, собрались в кино, десять копеек не хватает.

— Видишь ли, Лапушкин,— ответил я,— у меня есть десять копеек, но я не могу их тебе дать, я должен их Родионову.

— Да брось ты!— сказал Лапушкин.— Подождет Родионов. Да он уже забыл о них — чего тебе нести! Давай-ка нам.

— Нет, Лапушкин,— сказал я.— Как ты не понимаешь! Это же дело принципа, я должен отдать.

Лапушкин обиделся:

— Что ты за человек такой? Нужны позарез десять копеек, а ты не даешь! Ты что, мелочный?

— Не мелочный, а не могу.

— Мелочный,— сказал Лапушкин.— Я сразу это понял, когда ты мне пятак принес.

— Лапушкин, дело же в принципе,— сказал я.

— А ну тебя!— ответил Лапушкин.— Знал бы я, что ты такой мелочный, ни за что бы тебе пятак не передавал.

Лапушкин не стал больше слушать моих оправданий, пробормотал: «А иди ты!»— и отошел. Кто-то из его друзей крикнул мне вслед: «Больше на нашей улице не появляйся, а то плохо будет!»

По дороге к Родионову я размышлял о принципах. Что же это получается? Параскевич бы похвалил меня, если бы я принес ему пятак, а Лапушкин считает, что отдавать долг не обязательно. Путаница. Попробуй догадайся, какие у человека принципы.

Родионову я сказал:

— Я принес тебе два пятака, которые ты Королькову

для меня дал. Хочешь — бери, хочешь — не бери, только ты на меня не обижайся.

Родионов с родителями пил чай в саду. Мать Родионова сказала:

— Как мило!

Отец Родионова засмеялся. Родионов ответил:

— Да ладно тебе. Садись с нами чай пить.

— Если тебе не нужны, то я их сейчас отнесу Лапушкину,— сказал я,— он у меня просил.

Родионов сказал, что пойдет со мной к Лапушкину, вот только сбегает за курткой. Мне не очень-то хотелось брать его с собой, но не мог же я ему это сказать. Родионов побежал к дому. Ему трудно бегать: он хромает на правую ногу. Дом у Родионовых маленький, одноэтажный. В саду было слышно, как Родионов быстро ходит по комнате. Правая его нога стучит о пол не так, как левая.

Лапушкина с друзьями мы застали все на том же месте. Я им сказал:

— Вот вам два пятака.

— Молодец! — сказал Лапушкин.— А то мы не любим мелочных. Дим, сколько ты мне должен?

— Тридцать копеек,— ответил Димка Чернов из пятого «В».

— Видишь? — сказал Лапушкин.— Дим, если не хочешь, то и не отдавай, я ни за что не попрошу.

— Ладно,— сказал Димка.— Что я, мелочный — отдавать тридцать копеек. Рубль я бы еще отдал, а про эти тридцать копеек даже не помню.

Лапушкин с друзьями пошли в кино, а мы с Родионовым решили погулять. Родионов повел меня через какие-то дворы, по каким-то улочкам — о них я даже не знал. С ним хорошо было гулять, вот только он все время боялся, что я с ним не долго гулять буду. Он три раза говорил: «Леня, ты еще не уходи. Ладно?» Если б он этого не говорил, я бы

с ним до вечера гулял. А так расхотелось. Я сказал Родионову:

— Идем, провожу тебя, домой.

Я на всякий случай предложил ему строить штаб. Родионов ответил, что он тоже любит строить, только, может, вместо штаба лучше ракету построить и слетать на ней куда-нибудь.

— Родионов,— сказал я,— ты что, космонавт? Это же не реально. Мы же даже секрета горючего не знаем.

Меня что-то потянуло говорить так же, как говорил Параскевич.

Родионов ответил, что можно построить ракету, которой не понадобится горючее.

— Да брось ты!— сказал я.— Давай построим штаб, залезем в него, высунем стереотрубу и будем, как из блиндажа, наблюдать.

Родионов на это ответил:

— Хорошо. Но и ракету тоже. Ладно?

Мне не хотелось его обижать. Я ответил, что подумаю. Мы с ним попрощались у калитки. Родионов ушел с опущенной головой. Наверно, он понял, что я не соглашусь строить ракету.

Я вспомнил о Толике Сергиенко и подумал, что хорошо бы его навестить. Славно с ним дружить было. Больше ни с кем у меня такой дружбы не получается. У нас все было общее: и деньги на кино, и школьные завтраки. На переменках мы любили прогуливаться в обнимку. После того как Толик Сергиенко переселился на другую улицу, я попробовал прогуливаться в обнимку с Игорем Первушонком, но ничего не получилось. Я почувствовал: с ним не интересно. Да и Первушонку, видно, неловко было: он ежился, когда я его обнимал за плечи. С этим Первушонком я чуть было не подружился, но он переехал в другой город.

Мне не терпелось поскорей увидеть Толика, и я не понимал, как это могло получиться, что я его так долго не навещал.

Улица, на которой жил Толик Сергиенко, была застроена новыми домами, и слева от нее был пустырь. Когда я подходил к дому Толика, я услышал, что на пустыре играют в футбол. «Пас! Пас!»— доносилось оттуда. Я пошел на голоса и увидел играющих, и среди них был Толик Сергиенко. Я думал: представляю, как он обрадуется. И я стал ждать, когда Толик меня заметит, — вот сюрприз будет! Но Толик так увлекся игрой, что долго меня не замечал, хоть мне и казалось, что он взглядывал на меня.

Наконец он меня заметил.

— Водовоз, привет! — крикнул он. — Ты что здесь делаешь?

Я ничего не успел ответить, а Толик уже побежал за мячом. Вот тебе на!..

Толик как будто забыл обо мне. А я стоял и делал вид, что мне интересно смотреть на игру. Глупо выходило.

Потом Толик опять взглянул на меня.

— Водовоз, — крикнул он, — что ты делаешь на нашей улице? — и опять побежал за мячом.

Я подумал, что будет глупо, если я повернусь и, ничего не сказав, уйду. И в это время, как назло, мяч сильно стукнул меня прямо в лоб. Все засмеялись, и Толик Сергиенко тоже.

Вот оно как — я ему уже не друг! Все забыто. Забыто, как мы строили штаб, как сидели за одной партой, как вместе ходили в школу и из школы. У него новые друзья. Я повернулся и пошел, и Толик Сергиенко, наверно, не заметил, что я ухожу. А ведь мы были такими друзьями! Сколько мы завтраков вместе съели, сколько раков выловили в речке за городом! На душе у меня было скверно.

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С УЧИТЕЛЕМ ТАНЦЕВ. ЧАЕПИТИЕ И МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСКРЕННОСТИ

К нам пришел учитель танцев. Вот он стоит в моей комнате, в сером пиджаке, в зеленых брюках с пузырями на коленях и в старых туфлях. Учитель танцев стесняется своих туфель. Может, он думает, что это незаметно? Но это еще как заметно!

— Покажись,— велел мне папа, и я повернулся на 360 градусов.

— Это он и есть, — сказал папа.— Он вас попытается взять на испуг, но вы не пугайтесь. Держите его в ежовых рукавицах.

— Мы с ним подружимся,— сказал учитель танцев.

— Не говорите ему этого! — сказал папа.— Он не понимает доброго слова. Будьте все время начеку.

— Да ладно тебе! — сказал я.

— Как ты разговариваешь! — сказал папа.

Я сел к столу. Я уже слышал, что папа тяжело дышит, и не хотел его дальше расстраивать. Что поделаешь, мы разные люди и не понимаем друг друга.

Папа долго рассказывал учителю танцев, какой я непутевый. Он рассказал и о драке, и о том, сколько у меня двоек, и о том, как я побежал на тысячу метров и не вернулся к коммерческому директору.

Папа считает меня самым безответственным человеком на свете. Он говорит, что я способен на сверхъестественные, фантастические поступки, такие поступки, что даже трудно понять, как человеку могло такое в голову взбрести. Он все объяснял учителю танцев. Он смотрел на меня с жалостью и брезгливостью, он переживал.

Мне было скучно. Сначала я смотрел на часы. Замечу или нет, как движется большая стрелка? Стрелка передви-



нулась с цифры «два» на цифру «три», но я так и не заметил, как она движется. Потом я начал шевелить ушами. Этому нелегко научиться. Я два месяца тренировался. Папа заметил.

— Пожалуйста! — сказал он.— Вы что-нибудь подобное видели?

Он возмущался и тяжело дышал.

— Ну, а что ты умеешь делать с пальцем? — спросил папа.

Я отвел большой палец на правой руке и коснулся им ладони сначала с одной стороны — внутри, потом с другой — там, где костяшки. Этому научиться было еще трудней, чем шевелить ушами.

— Пожалуйста! — сказал папа.— Он может целый день учиться не по-человечески двигать пальцем, но попробуйте усадить его за уроки.

Как он меня презирал!

— Я от вас ничего не скрыл,— сказал он учителю танцев.— Вы беретесь?

— Конечно,— ответил учитель танцев.

— Следите за его руками и ногами,— сказал папа.— Не спускайте с него глаз... Вот, смотрите!

Я в это время представлял, будто еду на велосипеде.

— У него есть два брата,— сказал папа.— Один физик, другой работает геологом на Сахалине. Я ими горжусь. А это — наше наказание.— Он вышел из комнаты.

Сначала учитель танцев проверил мои знания.

Потом мы начали изучать правила и решать примеры. Учитель танцев был мной доволен. Он говорил, что мне не хватает только прилежания и внимательности. Это он так

говорил, потому что я все время отвлекался: то дрыгал ногами под стулом, то щелкал колпачком от авторучки, пока не сломал держатель.

— Вот видишь,— сказал учитель танцев.

В это время в соседней комнате мама и Мила о чем-то громко заговорили, Мила засмеялась. Я заметил, что учитель танцев прислушивается. Я пошел к ним и сказал:

— Пусть Мила понаблюдает за моими ногами, я за себя не ручаюсь.

— Пойди,— сказала мама.— Он уже занимается второй час, и ему с непривычки трудно.

Мила пожала плечами, но все же пошла в мою комнату и села у стены на стул. Она хоть и читала книгу, но замечала, если я начинал двигать ногами, и говорила: «Но-но-но!»

Скоро я сказал:

— Мне надо пять минут отдохнуть, а вы пока поговорите.

Они говорили о своей студенческой жизни, и не пять минут, а гораздо дольше. Учитель танцев, я видел, не прочь был бы поговорить еще, но Мила мне сказала: «А ну за дело!» Я решил, что для первого раза и это неплохо.

Сколько раз папа и Мила говорили маме, чтобы она не расспрашивала людей, тем более малознакомых,— это же нетактично! Но ничего не помогает. Как только учитель танцев закончил со мной заниматься и вышел в другую комнату, мама сразу же начала задавать ему вопросы: «На каком вы курсе? Где живете?» — и пошло.

Папа и Мила переглядывались и потихоньку вздыхали. А у мамы было печальное лицо. Я знаю, почему: учитель танцев сказал ей, что живет в общежитии, а мама считает, что самое ужасное, когда студент живет в общежитии. Бывает, придет из города и рассказывает: «Сейчас в магазине один студент взял полбуханки хлеба». Мила говорит: «Зачем человеку целая буханка, если он один?» Но маму не переубедишь: «Ты мне не говори, по глазам было видно, что он го-

лоден. Мне стоит взглянуть человеку в глаза, и я сразу вижу, голоден он или нет».

— Мой сын, — сказала мама учителю танцев, — тоже живет в общежитии. Он уже не студент. Он хороший специалист. Но там, где он работает, не ценят хороших специалистов. Его уже два года держат в общежитии.

И об этом папа и Мила говорили маме: нельзя человеку надоедать рассказами о своей семье. Может, ему это не интересно. Но маме об этом говорить бесполезно. Она долго рассказывала учителю танцев о моих братьях, Витьке и Борьке. Даже принесла альбом с фотографиями. Она уже называла учителя танцев деточкой. Она сказала:

— Деточка, сейчас мы будем пить чай. Я вас не отпущу, пока вы с нами не попьете чаю.

В этот вечер у нас к чаю были слоеные пирожки. Мама их умеет так делать, что, наверно, вкусней не бывает. Я лопал вовсю, а учитель танцев стеснялся.

— Деточка, — говорила мама, — съешьте, пожалуйста, еще вот этот пирожок.

Ну где это видано, чтоб человеку указывать, какой ему съесть пирожок! Мама неисправимая. А учитель танцев брал пирожок, на который мама ему показывала, и ел. Он не поднимал глаз, и разговор за столом не получался.

И вот раздается звонок. Мила выбегает в переднюю и возвращается с коммерческим директором. Его пригласили к столу. Он сел и два раза быстро взглянул на учителя танцев. Мама подала ему чай.

— Какой? — спросил коммерческий директор. — Какой вы мне порекомендуете пирожок?

Он-то уж знает нашу маму! Он ел, похваливал и поглядывал на учителя танцев.

— Вы поэт? — спросил его коммерческий директор. — Ведь правда, вы поэт? Я однажды слышал, как вы читали стихи на литературном вечере.

— Я студент,— ответил учитель танцев.

— Не надо скромничать,— сказал коммерческий директор.— Раз вы поэт, так надо признаваться. Ведь поэт должен быть искренним, а? Как же вы можете писать стихи, если вы не искренни?

Ему очень понравилось то, что он сказал, и он засмеялся. Он ел пирожки, заговаривал то с Милой, то с мамой, то с папой, и они ему улыбались и кивали. Видели б они его на пляже! Да как же они не замечают, что он притворщик? Ведь он же над ними потешается так же, как потешался надо мной. Мне казалось, что они вот-вот заметят. Вот было бы здорово! Папа встает и говорит: «Молодой человек, вы такой лживый, такой неискренний, что на вас просто невозможно смотреть. Уходите из нашего дома». Я засмеялся.

— Как ты ешь? — сказала мама.

Нет, этого не случилось. Они ему улыбались. Я стал приглядываться к маме, к Миле и вот что заметил: они тоже вели себя не так, как всегда. Может, и не нарочно, но они тоже притворялись. Ну чего это Мила смеется в нос? Никогда она раньше так не смеялась. А пирожок как откусывает? Маленькими кусочками. Если бы коммерческого директора не было, она бы ела не так. Что я, не знаю, как она ест пирожки?

А мама!.. Ну зачем она показывает, какая она добрая? И так ясно, что она добрая. Так зачем же она закатывает глаза и так вздыхает?.. Что же это получается? Может, все люди такие, да только раньше я этого не замечал?

Учитель танцев встал, сказал «спасибо» и попрощался. Я пошел его проводить. Мы по улице шли молча. Он был грустен и, наверно, не понимал, зачем это я за ним увязался. А я, чтобы его развеселить, пошевелил ушами, а потом сунул в рот два пальца и засвистел по-милицейски.

— Никто во всей школе так не умеет,— сказал я.

Он улыбнулся. Представляю, как он удивится, если узна-

ет, что я тоже пишу стихи. Когда-нибудь я ему об этом скажу. Мы попрощались за руку. До пятницы!

Я вернулся домой. Там притворство шло полным ходом. Коммерческий директор рассказывал что-то смешное, и Мила смеялась в нос. Надоело. Я ушел в свою комнату и улегся на диван.

Я размышлял об искренности, о том, как часто все же люди думают одно, а говорят и делают совсем другое. Даже мама. Как-то в городе мы с ней встретили папиного сослуживца Пегичева. Мама заулыбалась, любезно с ним раскланялась, еще и спросила, как здоровье его жены. А когда мы пришли домой, сказала папе: «Встретила только что Пегичева. До чего же неприятный тип!» Если ей Пегичев не нравится, так зачем улыбаться и спрашивать о здоровье жены?

После ухода коммерческого директора мама пришла в мою комнату. Она села на диван. В руке она держала стакан с простоквашей. Она говорит, что перед сном надо обязательно пить простоквашу. Глаза у мамы были заплаканы. Я сразу понял, что она сейчас начнет говорить о Борьке. И правда, она поставила на стол стакан с простоквашей и начала:

— Ох, чувствует мое сердце, что ему сейчас плохо...

На маму часто такое находит. Она говорит, что всегда чувствует, когда Борьке хорошо, а когда плохо. И если она чувствует, что ему плохо, то начинает плакать. Папа и Мила сердятся и кричат, чтобы мама не выдумывала и не терзала себя. Тогда она ко мне приходит.

— Он или заболел,— говорила мама,— или у него неприятности на работе.

— А! — сказал я.— Ты все это придумываешь.

Она не рассердилась.

— Ну скажи, чем ему было плохо дома? У нас такая хорошая квартира. Чего он туда поехал?

— Ты же знаешь,— сказал я.— Там у него интересная работа.

— «Работа, работа»! — сказала мама.— И здесь работа. Какая разница, где работать?

Я уже знал, что она теперь долго будет повторять это слово: работа. Она гладила меня по голове, целовала. Если бы ребята из нашего класса это видели, представляю, как бы они надо мной смеялись. Папа говорит, что я отбился от рук, потому что мама часто меня ласкает, потому что все время показывает, как любит меня. Я уткнулся лицом ей в грудь, а она все гладила меня.

— А ты от меня не уедешь, правда? — говорила она.— Ты ведь не хочешь доконать свою маму?

— Не уеду,— сказал я.

И тут вспомнил о коммерческом директоре.

— Мама,— сказал я,— а этот Валентин — противный, он притворщик...

Она меня оборвала:

— Не болтай глупостей... Ты ребенок, ничего не понимаешь. Мне стоит взглянуть на человека, и я сразу вижу, что он собой представляет. Валентин очень приличный молодой человек.

Ну что мне было делать? А я еще собирался рассказать о том, что было на пляже. Я выпил простоквашу. Мама встала с дивана и выключила свет.

— «Работа, работа»!.. — бормотала она и вздыхала.

МЕНЯ ОБСУЖДАЮТ.
Я НАЧИНАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ

На сборе присутствовали директор, старшая пионервожатая Лиля Петровна и Ольга Гавриловна. Директор так строго поглядывал на меня, что я боялся поднять голову.

Сначала нам с Грищуком велели рассказать, из-за чего мы подрались. Мы рассказали, и нас спросили: «Как вы расцениваете свой поступок?» Я, конечно, знал, как надо отвечать на такие вопросы. Надо было сказать, что я поступил так, как не подобает поступать пионеру, но мне очень не хотелось этого говорить. Уж не знаю почему, но я просто не мог этого сказать. И я решил: буду молчать и упрямиться. Все говорят, что я упрямый, так пусть же знают. И Грищук тоже молчал.

Тогда начали выступать ребята.

Первым выступил Родионов. Но Родионов не умеет выступать на собраниях. Родионов сказал, что драка ему понравилась и что все было по-честному: ногами не лягались, лежачего не били; только под конец получилось нечестно: Грищук убежал и влетело одному Водовозу.

Родионов пошел к своей парте. Но вдруг он остановился. «Грищук не победил Водовоза,— сказал он.— Водовоз под конец начал побеждать, но в это время пришел директор». Эх, Родионов, милая душа, не умеешь ты выступать на собраниях! Встала пионервожатая и сказала, что надо говорить совсем не о том, о чем говорил Родионов, а о главном: достойно ли звания пионера то, что совершили Водовоз и Грищук.

И тогда встал наш отличник Корольков. Уж он-то знает, как выступать на собраниях! Корольков — это же чудо! Никого в школе так часто не хвалят, как его. Корольков — организатор и инициатор, и только третье слово на «ор», которое я знаю: пульверизатор,— к Королькову не подходит. О Королькове учителя говорят: способный, вдумчивый, целеустремленный, прилежный, трудолюбивый, инициативный, усидчивый, вежливый, приветливый и много других хороших слов.

Корольков член совета дружины и детсовета. Он выступает на всех собраниях и сборах, на всех диспутах и чита-

тельских конференциях. И он ни разу еще не напутал и не сказал на собрании то, что надо говорить на диспуте, или наоборот. Наш директор всегда кивает, когда выступает Корольков. Он говорит, что в выступлениях Королькова ему нравится непримиримое отношение к лодырям и хулиганам.

— В понедельник мы были свидетелями ужасного поступка двух наших товарищей, пионеров нашего отряда Грищука и Водовоза,— начал Корольков. И все его выступление было таким же складным.

Я уже понимал, какой страшный поступок совершил.

— Мы должны заклеймить подобные поступки и вынести Грищуку и Водовозу суровое порицание,— закончил Корольков свое выступление.

Директор остался доволен Корольковым — он улыбался. Я тоже был доволен: Корольков сказал все как полагается.

После Королькова выступила Хмурая Тучка, наш председатель совета отряда. Ее фамилия Тучина, и она часто хмурится, чтобы быть строгой. Хмурая Тучка долго ничего не говорила, а просто стояла и хмурилась. И все в классе тоже хмурились, а у директора лицо стало таким строгим, каким в этот день еще не было, хоть и до этого у него был строгий вид.

Потом Хмурая Тучка сказала, что она и весь наш отряд обеспокоены моей судьбой.

— С Водовозом происходит что-то неладное,— говорила Хмурая Тучка,— он совсем отбился от рук. Он всем грубит, нарушает дисциплину, дерется и ухитрился по двум предметам получить двойки.

И дальше Хмурая Тучка сказала, что класс не позволит мне плестись в хвосте и нарушать дисциплину.

— Мы все должны помочь Водовозу исправиться,— закончила Хмурая Тучка,— и я уверена, что Леня исправится.

Она посмотрела на меня, и лицо у нее уже не было хму-



рым; мы встретились взглядами, и Хмурая Тучка быстро заморгала и шмыгнула носом. Но потом она вспомнила, что идет сбор, и опять нахмурилась. Она пошла на место, и я заметил, что палец на правой руке у нее в чернилах, а фартук немного сбился на сторону.

После Хмурой Тучки выступали еще многие, и все гово-

рили, что обеспокоены моей судьбой, потому что я качусь в пропасть. И я стал думать о своей жизни и понял, что в самом деле качусь в пропасть. И еще я подумал: если все так обеспокоены моей судьбой, то как же мне самому надо беспокоиться! И я так забеспокоился, что мне уже не терпелось, чтобы поскорей кончился сбор и я мог начать исправляться. Я встал и сказал, что оправдаю надежды и исправлюсь.

Директор кивал головой, и лицо у него уже не было строгим.

— Смотри же,— сказал он,— ты дал слово коллективу!

Потом встал Грищук и тоже сказал, что оправдает надежды: перестанет курить, драться, сквернословить, исправит двойки по всем предметам, будет мыть руки, пришьет к куртке пуговицы, выгладит брюки и станет похож на ученика. И хотя Грищук это обещал уже много раз, ему тоже поверили. И я думал, что мне будет очень стыдно за Грищука, если он и на этот раз не сдержит слова.

После сбора я сразу же пошел домой, чтобы начать новую жизнь.

Когда я проходил мимо сквера, то услышал, что меня кто-то нагоняет. Я обернулся и увидел Хмурую Тучку. Она бежала вприпрыжку, держа перед собой портфель, и ударяла по нему то одной коленкой, то другой. Мы пошли рядом.

Хмурая Тучка рассказала мне о своих рыбках в аквариуме и о своем папе, который летает на самолетах и как раз в это время, когда мы здесь идем, приземляется в Москве на Внуковском аэродроме. Хмурая Тучка так меня заговорила, что я чуть было не прошел мимо того переулка, где мне надо было сворачивать. Я остановился, и Хмурая Тучка тоже. Она смотрела на мое лицо, и я вспомнил о своих синяках.

— Тебе было очень больно? — спросила Хмурая Тучка.

Я махнул рукой и сказал, что могу еще не то вытерпеть.

— А я никак не могу сосчитать,— сказала Хмурая Тучка,— сколько у тебя синяков: три или четыре.

— Пять! — сказал я.

— А ну-ка, — сказала Хмурая Тучка и начала считать пальцем в чернилах: — Раз! Два! Три!..

Она прикасалась пальцем к моему лицу, и я боялся, как бы кто из ребят не увидел. Еще смеяться начнут!

— Пять! — сказала Хмурая Тучка.

— Вот видишь! — сказал я.

Мы попрощались.

До самого дома я бежал. Захотелось пробежаться после разговора с Хмурой Тучкой.

Дома я сразу же сообщил, что начинаю новую жизнь. Мама погладила меня по голове: «Молодец. Давно бы так». Мила тоже была довольна.

После обеда я пошел в свою комнату и стал думать, как лучше всего начать новую жизнь. Я решил, что надо, чтобы все было новое.

Я попросил у мамы денег на тетради и оберточную бумагу и побежал в магазин. Я купил двадцать тетрадей, новый дневник, книжку «Гигиена школьника» и пять листов оберточной бумаги.

Дома я обернул все свои книжки, аккуратно сложил их на этажерке, надписал новые тетради и дневник, а старые сжег в печке.

После этого я решил, что раз уж я начал новую жизнь, то мне надо помыться. Я еще никогда так старательно не терся мочалкой, и после купания я себя чувствовал таким же новеньким, как мой дневник и тетрадки. До чего же приятно начинать новую жизнь!

Пока я мылся, мама прибрала в моей комнате, и теперь все вокруг сияло, а книги на этажерке выглядели до того красиво, что просто не терпелось сесть за уроки.

Но я решил, что сначала надо составить распорядок дня. Я все как следует продумал, взял лист бумаги, разлиновал

его и написал: «Подъем — 7.00, зарядка и туалет — 7.00—7.20...» И так все расписал до десяти вечера.

Когда с работы пришел папа, распорядок дня уже был приколот к стене. Папа все оглядел в моей комнате. Лицо у него было недоверчивое. Он и распорядок дня прочитал. И сказал:

— Я уверен, что это серьезно.

— А ты как думал! — сказал я.

Все! Со старой жизнью покончено. Подумать только, каким я был разгильдяем! Но теперь я стану отличником.

Я сел за уроки. Но тут оказалось, что я не переписал из старого дневника, что задано на завтра. Я открыл дверцу печки — один пепел. Я пошел узнавать, что задано.

Конечно, я бы мог узнать у Королькова, он ближе всех живет от меня. Но я пошел к Манечке Аб. Имеет же право человек немного прогуляться.

Манечка Аб играла во дворе в волейбол. Я думал, что она сразу побежит за дневником, ведь она была так обеспокоена моей судьбой, когда выступала на сборе. Но Манечка Аб сказала:

— Ой, Водовоз, неохота. Сходи к кому-нибудь другому — видишь, я играю.

Она уже больше не замечала меня. Зачем же ей надо было говорить, что она обеспокоена моей судьбой? Кто ее за язык тянул? Ничем она не обеспокоена!

В это время мяч отлетел в сторону, я его подобрал и изо всех сил бросил в Манечку. Ей досталось по плечу. Она крикнула:

— Дурак! На следующем сборе я расскажу, какой ты хулиган!

Я ответил:

— Молчи, притворщица!

Девчонки, которые играли в волейбол с Манечкой, засмеялись. Одна сказала:

— Чудак — как смешно обзывается! Ты что — балдой ее не мог обозвать?

Я ушел. Настроение у меня было совсем не такое, какое должно быть у человека, когда он начинает новую жизнь. Я слонялся по улицам и уже не собирался узнавать, что задано.

Возле парадного на улице Чехова я увидел Генку Зайцева. С ним стояли еще двое ребят. Они по очереди затягивались от одной сигареты. Зайцев подмигнул мне и спросил:

— Хочешь?

Я покачал головой и ушел. Что же это такое? Критиковал меня на сборе, а сам курит. Тут я вспомнил, что у Генки Зайцева у самого двойка по истории. И я подумал: это так получилось потому, что обсуждали не Зайцева, а меня. А если бы обсуждали Зайцева? Неужели бы я тоже говорил, что обеспокоен его судьбой? Критиковал же я как-то Лапушкина за то, что он оторвал крышку на парте. А сам я разве не отдирал доски в заборе, когда мы с Толиком Сергиенко строили штаб?

Еще я вспомнил, что Грищука критикуют на каждом сборе и он каждый раз обещает исправиться и не исправляется. И опять он, наверно, не исправится. Но все равно на следующем сборе все будут его критиковать, и наша пионервожатая Лиля Петровна будет опять волноваться.

В общем, я решил, что начинать новую жизнь не стоит.

Я вернулся домой. Весь вечер я читал. Когда я слышал мамины шаги, я книгу откладывал и придвигал к себе тетрадку. Мама была мной довольна. Она мне молока с пирогом принесла.

Когда я уже улегся спать, я подумал: хорошо бы получить по всем предметам двойки, а потом исправить их на пятерки. Вот бы все удивились!

А вообще-то мне не хотелось думать о том, что будет завтра.

Я ХИТРЮ НАПРОПАЛУЮ. МОЯ ИДИОТСКАЯ ВЫХОДКА



Утром во время умывания у меня даже сердце екнуло, когда я подумал, что могу получить двойку. И это после того, как сказал маме, что начинаю новую жизнь!

За завтраком я подучил правила по русскому языку. В школу я бежал, чтобы успеть списать до звонка упражнение. Но мне не повезло. Слышу, меня окликают. Оказалось, это Владимир Петрович, наш «русак». Он нес в одной руке портфель, а другой рукой прижимал к себе большую стопку тетрадей. Он сказал:

— У вас часы спешат, до звонка еще двадцать минут. Помоги-ка мне.

Я взял у него тетради. Я ответил:

— Ага. Часы у нас невозможные. То они спешат, то отстают. Сколько уже раз ремонтировали — не помогает.

Он засмеялся и спросил:

— Ты правду говоришь? А то, может, я тебя задерживаю, а у тебя дела какие-нибудь.

— Никаких дел,— ответил я.

Мы шли не очень-то быстро. Я уже знал, что не успею списать упражнение. Тетради я занес в учительскую и побежал на второй этаж в класс. Но тут звонок прозвенел. Я попробовал на зарядку не пойти — не получилось. Дежурный учитель меня выпроводил из класса и потом все время стоял возле меня и следил, чтобы я как следует делал упражнения.

На уроке я только и думал о том, как бы Владимир Петрович не заглянул в мою тетрадь. Вот мука была! Он все же

заглянул. Я понял, что это значит, когда говорят: «Хотелось провалиться сквозь землю». Мне очень хотелось. Владимир Петрович ничего не сказал и отошел от меня, а я до конца урока не поднимал глаз. Вот в какое положение может попасть человек!

Вторым уроком была география. Я попробовал подучить на переменке, но не получилось: уж очень расстроен я был. Тогда я решил схитрить. Я вспомнил, что Клавдия Дмитриевна ни за что не спросит, если ее попросить перед уроком, чтоб спросила. Я стал ждать ее у двери класса. Я попросил ее:

— Клавдия Дмитриевна, спросите меня сегодня, а?

— Ты же знаешь,— ответила она,— я спрашиваю, когда мне нужно, а не когда хочется ученику.

— Клавдия Дмитриевна, ну пожалуйста! — сказал я.

— Об этом меня не проси.— Клавдия Дмитриевна открыла дверь класса и показала мне рукой, чтобы я входил.

Я сел за парту очень довольный. Но вид я делал такой, будто очень расстроен. Я все время поднимал руку. Потом начал выкрикивать: «Можно, я скажу? Можно, я скажу?» Клавдия Дмитриевна ужасно этого не любит. Она часто говорит: «Тех, кто якает, я не спрашиваю».

Но надо мной она сжалилась. Вдруг улыбнулась, лицо у нее стало добрым, она сказала:

— Ладно, отвечай.

И тут мне во второй раз в этот день захотелось провалиться сквозь землю.

Я встал... Не знаю, какое у меня было лицо. Я сказал:

— Вот только что знал, что-то из головы вылетело.

— Вылетело? — спросила Клавдия Дмитриевна.

— Вылетело,— сказал я.

Давно в нашем классе так не хохотали. Пять минут, наверно, Клавдия Дмитриевна стучала по столу ладонью и повторяла: «Да успокойтесь же!» Ей и самой смешно было, но

она старалась не улыбаться. Но когда перестали смеяться, лицо у нее стало строгим. Она сказала:

— Водовоз, какой же ты хитрый!

Она влепила мне двойку в журнал, потом в дневник. Я пошел на место и сел, но Клавдия Дмитриевна сказала: «Нет, встань и постой». Я стоял до конца урока. А Клавдия Дмитриевна спрашивала всех, кто вместе со мной якал или поднимал руку. Но они все знали. Клавдия Дмитриевна повеселела. Когда уходила из класса, сказала:

— А я была о тебе такого хорошего мнения.

Все, кого Клавдия Дмитриевна спросила, окружили меня. Они хохотали, хлопали меня по плечам и «спасибо» мне говорили.

Я тоже хохотал и делал вид, что мне весело. Потом я разозлился, что Лапушкин сильно шлепнул меня, и толкнул его в грудь. Он об парту ударился. Чуть не подрались... Но в класс вбежала Манечка Аб и крикнула:

— Кто хочет видеть нового «француза» — за мной!

Я побежал смотреть нового «француза». Нас возле учительской столпилось человек десять.

Когда кто-нибудь открывал дверь, мы смотрели на нового «француза». Я решил: раз «француз» новый, то спрашивать он не будет.

Но получилось не так, как я думал. Новый «француз» сказал, что хочет ознакомиться с нашими знаниями, и начал вызывать к доске. Меня он вызвал третьим. Я прочел предложение, а перевести не смог.

— Почему не выучил? — спросил новый «француз».

— Так. Не выучил,— сказал я.

Новый «француз» не собирался мне ставить двойку. Он положил мне руку на плечо и хотел со мной поговорить. Но я выдернул плечо из-под его руки. Подумаешь!

— Что ж, давай дневник,— сказал новый «француз».

Видели бы вы, как посмотрела на меня Хмурая Тучка!

Я сел на место и шлепнул новым дневником о парту. Вот она, моя новая жизнь!

После меня «француз» вызвал Королькова. Корольков быстро перевел и ответил все слова.

— Приятно спрашивать такого ученика,— сказал новый «француз».

Он поставил Королькову «пять» и уже улыбался до конца урока. А Корольков сидел впереди меня, не шевелился и не спускал с «француза» глаз. Я хотел у него спросить, сколько осталось до звонка, и дернул его за рукав, но Корольков не обернулся. Вот подлиза! Даже повернуться боится. Я нагнулся и ущипнул Королькова. Но Корольков все равно не обернулся. Я его щипал до конца урока, а он сидел как ни в чем не бывало. Только уши у него стали совсем красные и даже как будто напухли.

Но когда наш новый «француз», Георгий Владимирович, вышел, Корольков заплакал. Он сидел за партой и вытирал ладонью слезы, а Родионов жалобно смотрел то на меня, то на него. Подумаешь! Надо было сказать, сколько до звонка. Возле нас собрались ребята, и все утешали Королькова, но Корольков продолжал плакать. Вдруг Корольков встал.

— Почему?.. — сказал он и всхлипнул.— Почему вы ко мне так относитесь? Почему все ставят мне подножки, бьют меня сумками по голове, съедают без спросу мои завтраки? Когда надо решить задачу или перевести французский, то вы бежите к Королькову, а потом меня за это щипаете и бьете сумками по голове! — Корольков опять всхлипнул, сел на парту и закрыл лицо ладонями.

Он так рыдал, что некоторые в классе даже побледнели, а Родионов и Хмурая Тучка, казалось, вот-вот заплачут.

Хмурая Тучка подскочила ко мне. Она так возмущалась, что долго ничего не могла сказать, а только тяжело дышала.

— Ты... — сказала она.— Ты... я думала, что сдержишь слово, а ты... самый гадкий в нашем классе.

— Иди ты знаешь куда? — сказал я.— В баню!

Хмурая Тучка села на парту и заплакала. Вот она, моя новая жизнь! Просто чудесно все получилось!

Все в классе были против меня. Я это видел по лицам. А сами-то! Сами Королькову подножки ставили, а теперь возмущаются.

— Ладно тебе, Корольков,— сказал я.— Если бы ты не был подлизой, я бы тебя не щипал. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты директора привел, когда мы дрались? Чтоб потом не говорили, что Корольков видел, а не сказал. Ябеда ты, вот кто! — И я вышел из класса.

Просто не знаю, как я высидел остальные уроки. Мне хотелось дать себе по морде. Если б в классе никого не было, то я бы так, наверно, и сделал.

После уроков я пошел в парк, сел на скамейку и стал думать, как быть с дневником. Ну как я его дома покажу? Ведь я же сказал, что начинаю новую жизнь. Хорошо бы купить новый. Но где взять денег? Я все же придумал, как мне быть.

Я вернулся в школу, подождал звонка с первого урока второй смены и вошел в шестой класс. Я вытащил из портфеля дневник и бросил на пол.

— Что хотите, то и делайте,— сказал я,— только не рвите.

Сначала на моем дневнике плясали. Потом я сказал:

— Хватит, теперь ставьте оценки.

Мне сразу влепили четыре двойки — и пошло: начали ставить и вперед, и за прошлые дни.

— А теперь,— сказал я,— вот эти двойки переправьте на пять.— Это я велел исправить те двойки, которые мне поставили француз и Клавдия Дмитриевна. После этого я забрал дневник. Вид у него уже был не новенький, но я все-таки был еще не доволен.

На улице я стал на краю тротуара и бросил дневник под



задние колеса проезжающего «Москвича». Мне нужно было, чтоб дневник стал совсем истрепанным. Ну вот!.. Я положил дневник в портфель и пошел домой.

Дверь мне открыла Мила. Я вошел в комнату и увидел маму и коммерческого директора. Только его недоставало!

— Что случилось? — спросила мама. Она всегда узнает по лицу, если у меня в школе что-нибудь неладно.

— А! — сказал я.— Не везет мне.

— Да что такое? — Мама сразу расстроилась.

— «Что! Что»! — сказал я.— Не везет мне. Вот посмотри.— Я достал из портфеля дневник и показал маме.

Я сказал, что забыл его в школе, а когда пришел забрать, то увидел, что ребята со второй смены вот что с ним сделали.

— Ну ничего,— сказала мама.— Купим новый.

Она и Мила сразу повеселели. Коммерческий директор взял из маминых рук дневник и начал рассматривать.

— Вот негодники,— пробормотал он,— вот негодники...— а сам мне незаметно подмигнул. Потом повернулся спиной к маме и Миле, протянул мне дневник и опять подмигнул. Все, значит, понял.— В следующий раз не оставляй,— сказал он.

Я ушел в свою комнату, бросил портфель на пол и стал расхаживать между столом и диваном. Вот это да! Коммерческий директор меня покрывает. Что же мне теперь, мириться с ним? Вот идет. Он закрыл за собой дверь.

— Я — молчок! — сказал он.— Зачем волновать маму. Исправишь двойку, и никто не узнает.

Мне не хотелось встречаться с ним глазами.

— Да что ты голову повесил? — сказал он.— Бодрей, бодрей! Чего в жизни не бывает... — Он смотрел на меня и раздумывал. Потом начал опять: — А ну признавайся, за что ты на меня сердишься? Почему тогда не вернулся? Избегаешь меня, не здороваешься...

— Я — молчок! — сказал он. — Зачем волновать маму.
было отвечать... Скорей бы он ушел. Но он опять заговорил.

— Ну не хочешь,— сказал он,— не отвечай. Я вот тоже молчать буду,— и сел на диван.

Он сидел и изображал, что не собирается говорить, сжал двумя пальцами губы и так и оставил их сжатыми и вытянутыми. Я улыбнулся — рассмешить он умеет.

— Вы тысячу метров ведь не отмеряли, да? — спросил я.

— Не отмерял,— ответил он.— А как я мог отмерить? Сантиметром, что ли? Ты из-за этого обижаешься? Так это зря.

— Шагами,— сказал я.— Наш физрук шагами отмеряет.

— Ты думаешь, это точно? У меня такой глазомер, что я на глаз определяю лучше, чем шагами.

Вот такой он человек. Когда его нет, так на него злишься, но начнет он с тобой разговаривать — и выходит: зря ты на него злился. Даже виноватым себя чувствуешь.

— Ну вот и хорошо! — сказал он.— Помирились! — Схватил мою руку и пожал. Потом достал из кармана трешницу и бросил на стол.— Сходи в кино, и все беды забудутся.

Он вышел.

Мама мне больше рубля ни разу не давала. Я взял трешницу, повертел ее. В соседней комнате засмеялся коммерческий директор. Доволен, наверно, что я трешницу взял. Он боится, как бы я не рассказал о том, что было на пляже. И об обмане с дневником поэтому не рассказывает. Я представил, что теперь должен буду здороваться с ним, улыбаться ему. Нет, я этого не смогу.

Я схватил со стола трешницу, подскочил к двери и распахнул ее. Я плюнул на трешницу и прилепил ее к двери. Трешница осталась у них в комнате. Вот и хорошо! Теперь мне не надо будет ему улыбаться.

Я распахнул дверь во второй раз. Они смотрели на меня, как на пожар.

— Я две двойки получил,— сказал я.

Все! Вот теперь уже все! Теперь я лягу на диван и заткну уши, чтобы не слышать, о чем они там говорят.

Как только ушел коммерческий директор, мама и Мила вошли в мою комнату.

— Дикарь! — сказала мама.— Злобное, неблагодарное существо!

Мила заплакала.

— Боже,— говорила она,— какая идиотская выходка! Что Валентин о нас подумает?

Пришел учитель танцев. Он посмотрел на заплаканное Милино лицо, на меня, на маму, потоптался и сказал:

— Ну, давай заниматься.

Под конец наших занятий я услышал, что с работы вернулся папа. В соседней комнате разговаривали. Скоро папа вошел к нам. Он так дышал, что даже в носу присвистывало.

— Ты... — сказал он. Но потом вспомнил, что со мной уже не о чем говорить. Он шлепнул меня по щеке. Это при учителе танцев!..

Я постарался улыбнуться и — так глупо получилось! — начал напевать. Тра-ля-ля — ничего себе, веселый денек. Вот теперь мама заплакала. Теперь у нее повысится давление. Я видел через открытую дверь, как папа и Мила забегали возле мамы. Мила накапала ей в рюмку валерьянки. Вот она, моя новая жизнь! Нет, не могу я этого видеть!.. Я вскочил из-за стола: комната, коридор, лестница...

У оградки стоял мусорный ящик. Я так двинул по нему ногой, что аж солнце подпрыгнуло. Вот она, моя новая жизнь! Прав был наш директор, когда говорил, что я моральный урод. У мамы больное сердце, а я ее извожу...

Что это? В нашем доме кто-то пронзительно закричал. Голос был женский, такой тоскливый, что даже за сердце схватило. Я побежал. На лестнице стоял учитель танцев и смотрел на дверь наших соседей Неделиных. Дверь была раскрыта, и из квартиры доносился плач. Учитель танцев взял меня за локоть.

— Не надо тебе туда идти,— сказал он,— ваш сосед умер.

— Я пойду домой,— сказал я.

Одному в квартире было страшновато. Я старался не думать о покойнике, но ни о чем другом не думалось. Его звали Петро. Он долго болел. И вот умер. А я живой, получаю двойки, обманываю, извожу маму. Нет мне прощения!

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? — Я БЕЗДУШНЫЙ. ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

На следующий день никто не вспомнил о моем обмане с дневником. Когда я пришел из школы, мама была у Неделиных. Она только к обеду появилась дома. Она нарезала хлеб, пододвигала нам тарелки с едой, как всегда, ела на ходу. Она говорила о покойнике, о том, что еще нужно сделать для похорон, и такая она была грустная, такой у нее был покорный вид, что у меня сжималось сердце. Вот странно: я каждый день вижу маму по многу раз, а не замечал, что под глазами у нее припухло, что вены на руках вздулись... Ведь у нее больное сердце! А я об этом никогда не помнил. Если б я об этом помнил, я бы ее не волновал.

За столом разговаривали тихо, и, когда я после обеда вышел на улицу, мне показалось, что голоса прохожих, дребезжание трамвая — все звуки уж очень громкие.

Я думал о смерти, о том, что все умирают. Мне-то еще ничего — я только начал жить. А каково старикам? Ужасно обидно: живешь, живешь — и вдруг нет тебя.

Я весь вечер думал о смерти и с этой мыслью заснул. А когда утром проснулся, увидел луч солнца на полу, ветви клена за окном, и они — луч солнца и ветви клена — как будто сказали мне: «Все хорошо, вот только смерть...»

Возвратившись из школы, я увидел, что двери в квартиру Неделиных раскрыты настежь. Входили и выходили люди. Я тоже вошел и долго смотрел на покойника.

Подошла мама и показала глазами, чтобы я вышел на лестницу. На лестнице она мне дала денег и велела сходить в похоронное бюро за венком.

Я шел по улице, а запах из комнаты, где лежал покойник, как будто увязался за мной. Он был только слабей.

В похоронном бюро я уплатил деньги за венок, но мне сказали, что нужно еще заказать художнику ленту. Я вошел

в комнату, где работал художник. Он держал в зубах сигарету и быстро писал на ленте: ЛЮБИМОМУ ДЕДУШКЕ ОТ... Я постоял, и он в это время написал слово ВНУКОВ, отложил ленту в сторону и начал писать на другой. Он написал: ДОРОГОМУ ГРИШЕ ОТ ДОРОШЕНКО.



Я сказал, что хочу заказать ленту. Он посмотрел на меня, сигарета в его зубах уже была совсем маленькая.

— А что писать? — спросил он.— Ты мне напиши на бумажке.

На столике в комнате лежали карандаш и листок бумаги. Что же написать? «Дорогому Петру от Водовозов»? Только «Петру» нехорошо. Мы всегда его называли Петро, но ведь тогда он был живой. Он часто приходил пьяным и кричал разные глупости, поэтому его никто не называл Петей. А теперь, значит, надо Петей? Нет, что-то не то. Я решил выйти на улицу и подумать.

Но от того, что я вышел на улицу, мне не стало лучше думаться. Может, «дорогому» не писать? Когда он был жив, мама с ним часто ругалась. А однажды даже ругалась два дня подряд из-за веревки на чердаке. Он говорил, что это его веревка, а мама — что это наша. Она говорила, что даже помнит, где эту веревку покупала. Но он тоже говорил, что помнит, как эту веревку привязывал к балкам на чердаке. Он для нас никогда не был дорогим, его у нас называли «этот пьянчуга». Так что же теперь написать: «Дорогому Пете от Водовозов?»

Я все ходил по тротуару возле похоронного бюро, а вре-

мя шло, и я боялся, что уже начались похороны. Вот как трудно придумать одну строчку. Все не то, все не то. А может, просто написать: «Петру от Водовозов». Нет, тоже как-то нехорошо — грубо. Уж лучше: «Соседу Петру от Водово́зов». Ну да, вот это лучше! Он наш сосед, так пусть так и будет написано.

Я вернулся в комнату, где работал художник. В губах у него дымилась уже другая сигарета, он щурился от дыма и писал, писал. Он, наверно, не думал о том, что пишет. Когда я положил перед ним бумажку, то даже нельзя было понять, заметил он ее или нет. Но вдруг он ее пододвинул поближе. С сигареты посыпался пепел на стол. Он выбросил сигарету в угол, сдул пепел и начал писать с моей бумажки. До чего же быстро!

Когда я шел по улице с венком, мне опять начало казаться, что написано не то. Хуже нет — идти с венком: все на тебя смотрят. У меня еще немного осталось мелочи, и я взял такси.

Хорошо, что я с венком зашел сначала домой. Мама посмотрела на ленту, и лицо у нее сразу стало расстроенным, прямо-таки скорбным.

— Боже мой,— сказала она,— и это видели люди на лестнице! Видели?

— Только двое,— сказал я.

Мама еще никогда так на меня не смотрела. Она, наверно, вспомнила про все: про мои двойки, про мой обман, про то, как я ее извожу. Она сорвала ленту с венка.

— Горе матери,— сказала она,— у которой бездушный ребенок.

Она послала Милу за другой лентой, а на меня уж больше не обращала внимания. Я ушел в свою комнату и решил не выходить, пока не увезут покойника.

Скоро на улице заиграла траурная музыка. Я подошел к окну: выносили гроб и венки. И на всех венках было напи-

сано: «дорогому», «любимому». И на венке от Арефьевых. Их квартира этажом ниже нашей. Когда Петро был жив, они тоже с ним ругались. Видно, я один такой бездушный.

В этот день мне все напоминало о том, что я бездушный. Донесется с улицы смех, а я уже думаю: «Вот это смеется хороший человек, не то что я». А когда по радио началась передача «О людях хороших», я просто не знал, куда деваться от стыда. Я убежал на улицу.

Я долго бродил по улице и все вспоминал разные случаи из своей жизни. Вот недавно на географии я смеялся и Клавдия Дмитриевна сделала мне замечание, но я и после этого продолжал смеяться, и тогда Клавдия Дмитриевна сказала: «Ну какой же ты нехороший!» Она, наверно, догадалась, что я бездушный. А Ленке Савельевой за что я дал подножку? Она так сильно шлепнулась, ободрала коленку. Ясно — бездушный...

— Леня,— услышал я,— что это ты такой задумчивый? Стихи сочиняешь?

Я поднял голову и увидел Марью Петровну, библиотекаря из детской библиотеки. Сначала я удивился, что она мне улыбается. Но потом подумал: ведь не всем же известно, что я бездушный.

Раньше я занимался у Марьи Петровны в литературном кружке. Она хвалила мои стихи. Но летом я перестал ходить в кружок. Она меня начала расспрашивать, почему я не хожу. Я сказал:

— Не хочется. Я лучше легкой атлетикой займусь.

— Одно другому не мешает,— сказала она.— Жаль, если ты бросишь. По-моему, тебе надо писать.

Она улыбалась, и на душе у меня стало немного легче.

— Сегодня в областной библиотеке вечер поэзии,— сказала она.— Будут читать стихи молодые поэты. Приходи. Начало через час.

Я сказал, что приду. Вот и хорошо, а то домой так не хочется идти.

Хорошо быть поэтом. Напишешь стишок про весну, или про лето, или про то, как приятно с горки на санках кататься, и этот стишок всякая мелюзга будет учить, и им за это учителя оценки в журнал выставят: кому пятерку, кому четверку, а не выучил, вот тебе «два» — учи стихи!

А придешь на литературный вечер — все на тебя смотрят, как на диковинку. И уж всё разглядят: и какой на тебе галстук, и как ты улыбаешься, и как ходишь. Рядом со мной сидели две девицы, так они всех пятерых поэтов по косточкам разобрали. Да и сам я пялился на этих поэтов вовсю. И вот смотрю: за стол садится еще один. Да это ж учитель танцев! Тут я заерзал на стуле, стул заскрипел, а одна из девиц покосилась на меня и говорит: «Мальчику надо выйти». Я понял, на что она намекает,— вот противная!

Сначала выступил какой-то дяденька, преподаватель университета, и рассказал про университетскую литературную студию. Интересно рассказывал. Он все время шутил, а закончил так: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...» Ему захлопали.

Потом начали читать свои стихи поэты, и я опять расстроился. Опять вспомнил про обман с дневником, про венок, про то, что я бездушный: эти поэты как будто сговорились напоминать мне, какой я плохой.

Первый вышел и начал читать нараспев, как он любит всякую работу: носить воду, колоть дрова, пахать, косить, сеять хлеб, крутить баранку — ничего не забыл. Какой я лентяй по сравнению с ним! Но все же, пока первый поэт читал это стихотворение, я мог хоть как-то оправдаться перед собой: мне тоже нравится кое-какая работа, например копать картошку. Недавно на пришкольном участке я накопал больше всех. Меня за это в стенгазете похвалили.

Но как только начал читать стихи второй поэт, я сразу же понял, что теперь уж мне нечем оправдаться. Он читал о том, что хотел бы быть солнцем, светить всем людям и согревать их, о том, что он очень рад, что родился на свет, и раз уж ему так повезло, то он постарается сделать что-нибудь хорошее: или будет строить города, или учить детишек, как правильно писать слова «корова» и «пароход». И еще в этом стихотворении говорилось, что он заглядывает в свою душу, как в чистую криницу. Хорошо ему — у него такая душа, а в мою так просто страшно заглянуть: черный омут — вот что такое моя душа! Я ерзал на стуле, а девицы поглядывали на меня и перешептывались.

Второму поэту долго хлопали, и я тоже делал вид, что мне понравилось, и хлопал, и никому не приходило в голову, что здесь, в зале, сидит бездушный, гадкий человек.

Я вместе со всеми хлопал и третьему поэту, который читал стихи о любви. Было понятно, что он тоже очень хороший и влюблен в очень хорошую девушку, только эта девушка пока что не понимает, какой он хороший. Вот уж обрадуется, когда поймет!

Четвертым вышел учитель танцев. У него был грустный вид, и он начал читать тихим, виноватым голосом, и стихотворение было о том, что он виноват перед какой-то девушкой, которая в мороз ремонтирует трамвайные пути: сыплет лопатой песок, отковыривает ломом булыжники, снимает большую рукавицу и сморкается без платка, и никто еще ни разу не подарил ей цветов, и в общежитии у нее висит над кроватью клеенка с намалеванными лебедями. В стихотворении не говорилось, в чем учитель танцев виноват перед этой девушкой. Наверно, вина была такая большая, что об этом стыдно было говорить.

Он говорил, что виноват и перед другими людьми на земле. И я его очень хорошо понимал. Только, по-моему, он кое в чем себя напрасно винил. Ну как он мог, например, ока-

заться виноватым перед негром из Анголы, у которого в жизни не было ни одного радостного дня? Тут уж он на себя напраслину возводил: каждому первокласснику известно, что виноваты здесь колонизаторы и неоколонизаторы.

Учителю танцев хлопали громче всех. Он пошел к столу, но вдруг остановился и прочел стишок о своей маме. Этот стишок был без рифм, совсем коротенький, и написан он был как будто про мою маму. В нем говорилось про вены на руках, про походку, и я вспомнил, как ходит моя мама. А когда учитель танцев прочел последнюю строчку: «И, думая о тебе, шепчу: «Мама, прости!»— у меня на глазах выступили слезы. Я ничего не мог поделать с собой, я вытирал их, а они опять выступали; девицы на меня смотрели, потом и из передних рядов начали оборачиваться,— я вскочил и, спотыкаясь о чьи-то ноги, побежал к двери.

На улице уже темнело. Город был печальный, тихий; из-за угла навстречу мне вышли двое мужчин, и один другому сказал: «Она умерла через двадцать минут после операции». И мне вдруг стало страшно, что с мамой что-нибудь стряслось за то время, что меня нет дома,— я побежал.

Но дома все было в порядке. Мама хлопотала на кухне. Она сказала:

— Садись, поешь, сынок.

Мне не хотелось есть. Я пошел в свою комнату. Я шагал от стола к дивану, от дивана к столу. Как же я мог так плохо относиться к маме! Никогда я о ней не думаю, ни разу ее не порадовал...

На улице зажглись фонари. Я сел за уроки и старательно занимался часа два. Потом пошел на кухню поесть. В темноте я больно стукнулся лбом о косяк двери. Так мне и надо!

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Прошло еще два дня. Наступило воскресное солнечное утро, без единой пылиночки (ночью прошел дождь), сияющее, как стеклышко. Такое это было утро, когда все плохое забывается, хочется с кем-нибудь подурачиться и все тебе смешно: собака по улице пробежит, а ты уже улыбаешься, прохожий споткнется — так ты из-за такой чепуховины хохотать готов. Мне в то утро хотелось, чтобы все на земле было хорошо, чтобы никто не ссорился, не злился, и я уже не казался себе бездушным. Но все же я чувствовал себя виноватым: перед мамой, Милой, папой, перед Славиком Уточкиным, перед Ольгой Гавриловной, нашим директором, перед кошкой, которой я наступил на хвост... Я даже чувствовал себя виноватым перед коммерческим директором. Сейчас-то мне смешно, но бывает такое настроение.

Я пошел к маме на кухню. Я хотел с ней поговорить, извиниться за все. Раньше, когда я бывал виноват, мне говорили: «Ты бы хоть прощения у мамы попросил». А теперь я сам шел.

— Ну что? — сказала мама. — Ну что ты слоняешься? На кино денег надо, да? Не получишь, пока не исправишь двойки.

Я вышел из кухни. Вот, значит, как. Мне так хотелось извиниться, а она...

Я немного позлился, побуцал в своей комнате подушку и пошел к Миле. Она примеряла новую кофточку: вертелась, улыбалась перед зеркалом, но меня как будто не замечала.

— Мила... — начал я.

— Что тебе? — Она повернулась ко мне. — Ну чего ты здесь околачиваешься? Мама на кино денег не дает, так ты ко мне пришел? Так знай: сегодня ты у меня не получишь — не заслужил.

Раньше Мила была не такая. Когда-то мы с ней дружно

жили. Мы спали в одной комнате, вместе ходили в школу и на перемене, бывало, вместе ели в школьной столовой. А когда в Милу был влюблен Димка Мартышко из десятого «Б», кто ей записки носил? А как мы подушками перед сном бросались? А как я болел за нее, когда она сдавала экзамены? Теперь она взрослая: у нее в сумке губная помада, а в шкафу столько платьев... Но все же до того, как у нас появился коммерческий директор, она ко мне относилась лучше. Бывало, если мне влетит от мамы или папы, она обязательно утешит, а если мама на кино не даст, у нее всегда можно было раздобыть двадцать копеек. Но последнее время она редко меня замечала, а после моей выходки с трешницей так и совсем перестала обращать внимание.

Никто на меня в доме сейчас внимания не обращает. Я знаю почему: договорились быть со мной построже. Папа говорит, что я такой разболтанный из-за того, что со мной все цацкаются. Ну, посмотрим! Все равно мама не выдержит. Не сегодня, так завтра придет ко мне перед сном с простоквашей: «Что ты такой грустный, сынок?» Тогда уж я надуюсь. Она еще пожалеет, что так со мной обошлась.

Пришел коммерческий директор, и все — мама, папа, Мила — ушли с ним на стадион: на стадионе в то воскресенье был спортивный праздник. Я подошел к окну: вот они, идут. Мила показывала рукой на тучку, мама и коммерческий директор улыбались друг другу. Мама мне казалась совсем чужой, и я заметил, что одно плечо у нее ниже другого и она шаркает по тротуару ногами.

Раз нет денег на кино, то надо хоть погулять. Сначала я раскачивал оградку у нашего дома, потом гонял по тротуару камень. Но сколько можно?

Я сходил домой, взял на кухне три пирожка с картошкой и опять вышел на улицу. Люблю есть на улице.

Смотрю: возле меня прохаживается Стасик Таковский. Стасик всегда появляется неожиданно и неожиданно уходит,

он никогда не здоровается и не прощается. Он тоже учится в пятом классе, но не со мной, а в пятом «Г».

Стасик обиженно поглядывал на меня. У него всегда обиженный вид. Его чубчик от ветра ерошился.

— Пирожки ешь? — сказал Стасик. Он все ходил и косился на меня. Потом стал бить носком ботинка в стену дома.— Ишь ты,— опять сказал Стасик,— пирожки ест!

Я, чтоб он не обижался, дал ему один. Стасик ничего не сказал и сразу съел. Я думал: как это получилось, что мы со Стасиком до сих пор не подружились? Живем мы рядом, но я о нем ничего не знаю.

— Слушай,— сказал я,— давай что-нибудь организуем.

Мы пошли во двор, сделали из двух кирпичей ворота и начали гонять банку. Но со Стасиком неинтересно играть. Только разыграешься, а он остановится и стоит: пожалуйста, забивай.

— Ну и труп же ты,— сказал я.

Стасик шмыгнул носом. Я не понял, обиделся он или нет; у него всегда обиженное лицо.

— Леня,— сказал он,— идем к тебе.

— Ну пошли,— сказал я.

Стасик осмотрел комнаты и кухню. Ему было очень интересно.

— Леня, а что у тебя есть? — спросил он.

Я повел его в мою комнату и выдвинул ящик в столе.

— Леня,— спросил Стасик,— а эта авторучка сломанная?

— Сломанная,— сказал я.

— А дай ее мне.

— Возьми,— сказал я.

Потом я его поставил в дверях, взял с дивана две подушки и начал забивать ему голы. Но Стасик только делал вид, что ловит.

— Леня,— спросил он,— а ножик в твоем ящике сломанный?



— Сломанный,— сказал я.

— А дай его мне,— сказал Стасик Таковский.

Я дал ему ножик.

— Слушай,— сказал я,— так давай что-нибудь организуем. Давай штаб строить. Мы с Толиком Сергиенко строили, да он уже завалился. Давай снова.

Но Стасик не отвечал. Он обиженно все осматривал в комнате.

— Леня, а что у тебя еще есть? — спросил он.

— Фу ты черт! — Я повел его в кладовку, и он долго там все рассматривал.

— Леня,— спросил он,— а этот утюг сломанный?

— Он не сломанный,— сказал я.— Его древесным углем разогревают. Зачем тебе этот дурацкий утюг?

— Дай его мне,— сказал Стасик Таковский.

— Бери,— сказал я.— Так как насчет штаба? Будем строить?

Но Стасик не отвечал, он рассматривал утюг, поднимал и опускал крышку. Мы вышли на кухню.

— Хороший штаб получится,— сказал я.— Там яма уже выкопана, только крыша провалилась.

Но вижу: Стасик Таковский пошел из кухни. Я ничего не понял и вышел за ним в переднюю. Смотрю, он открывает дверь. Ну, видели вы что-нибудь такое?! Я так удивился, что даже ничего ему не сказал, и он вышел. Может, он испугался, что я утюг заберу обратно?

Я пошел на балкон и увидел, что Стасик идет к своему дому. Он обиженно смотрел прямо перед собой и держал утюг двумя руками у груди.

— Крохоборище! — крикнул я.

Но Стасик как будто и не слышал.

Я собрал подушки и положил на диван. А теперь что делать? Я лег на пол животом вниз и восемнадцать раз отжался на руках.

Потом я делал стойку на голове.

Потом я пошел на кухню и съел еще два пирожка. После этого я почувствовал, что дома мне больше нечем заняться. Я пошел на улицу.

Я гулял по улице Скрябина.

Потом по улице Чапаева.

Потом по улице Минина и Пожарского. На этой улице я встретил Манечку Аб. Глаза у нее были заплаканы, но она улыбалась.

— Водовоз,— сказала она,— пошли ко мне?

— Неохота,— ответил я.

— Нет, пожалуйста, пошли,— сказала Манечка Аб,— а то обижусь.

Сам не знаю, зачем я пошел с Манечкой Аб. Скучно было — вот и пошел.

Манечка Аб по дороге мне рассказала, что мать ее послала за сметаной и она банку со сметаной разбила.

Мы вошли в парадное, и тут я вспомнил, какая у Манечки Аб злая мать. Однажды она пришла в школу и отодрала за уши Грищука за то, что Грищук дергал Манечку за косы. Ну и крик же она подняла тогда! Я решил не идти к Манечке, но она как будто об этом догадалась и схватила меня за руку.

Манечкина мать открыла дверь и осмотрела меня с ног до головы, от ботинок до макушки.

— А где сметана? — спросила она.

Манечка опять схватила меня за руку и сказала:

— Мама, вот этот хулиган Водовоз разбил банку со сметаной!

— Ты чего пришел? — крикнула Манечкина мать. — Ты чего пришел, хулиган? Вон отсюда!

Она мне ничего не дала сказать и толкнула с лестницы.

— Вон отсюда! — кричала она. — Хулиганское отродье!

Я совсем одурел. Я выбежал на улицу... Я плакал, как маленький. Какая-то тетенька с балкона спросила, в чем дело. Но я ей не ответил. В подвале Манечкиного дома овощной магазин, и в это время чьи-то руки в рукавицах выставили в окно ящик с гнилой картошкой. И я схватил картофелину и запустил в прохожих. Тетенька с балкона кричала:

— Ты что делаешь? Мальчик! Мальчик!

Я побежал по улице; какой-то дяденька хотел меня схватить, но я увернулся.

На улице Минина и Пожарского я бросил камень в собаку. На улице Чапаева скорчил рожу какой-то девчонке, которая смотрела на меня из окна. Она мне тоже скорчила рожу. Я сказал:

— Уродина.

Она ответила:

— Сам урод. Чего пристаешь? Я тебя трогала?

И надо же, чтобы мне Алешка Параскевич встретился. У него всегда очень серьезный вид, и я подумал, что это противно. Я вспомнил, что Параскевич еще ни разу не дрался.

— Параскевич, — сказал я, — сейчас будем драться!

Он улыбнулся, но, разглядев мое лицо, перестал улыбаться.

— Я не могу, — сказал он. — Я иду на игру. Сегодня предпоследний тур.

— А мне какое дело! — сказал я.

Тогда он решил меня обежать, но я схватил его за рубашку. Рубашка затрещала... В общем, я ее разорвал.

— Водовоз, — сказал Параскевич (он ощупывал сзади рубашку), — правильно говорят о тебе, что ты негодяй.

— Молчи, гений!..— сказал я.— Сейчас схлопочешь!

Параскевич снял рубашку и засунул в карман.

— Водовоз,— сказал он,— ты негодяй, каких мало. Предупреждаю, как только папа приедет из командировки, он придет в школу и заставит тебя заплатить за рубашку.— Он повернулся и пошел играть в шахматы в майке.

— Да что ты меня своим папой пугаешь!— крикнул я.

Но он не обернулся. Смотри-ка какой: негодяем обозвал! Я — негодяй?! Коммерческий директор — вот это негодяй! Манечка Аб — это я могу понять! Неужели же и я негодяй?! Вот это у меня в голове не укладывается.

Дома я пролежал на диване до самого вечера. Я не вышел ужинать. Я слышал, как мама с Милой шепчутся за дверью. Потом Мила вошла. Она делала вид, что ищет что-то. И она тоже думает, что я негодяй? Замечательно. Я отвернулся к стене. Никто мне не нужен. Я думал о себе, что я бездушный. А это они все бездушные. Им нравятся такие, как коммерческий директор, они забывают о людях, с которыми дружили. Разве им дружба дорога? Утюг им дорог. Дурацкий утюг, который древесным углем разогревают. Они готовы из-за банки со сметаной оклеветать человека. А умри я сегодня, так они нанесут венков, и на лентах будет написано: ЛЮБИМОМУ, ДОРОГОМУ...

Я представил себе, как меня хоронят. Вот за гробом идет коммерческий директор и несет венок с надписью: «Дорогому, незабвенному Лене Водовозу от старшего товарища». А рядом с ним Стасик Таковский. Ну что бы он написал на своем венке? Наверно, такое: «Любимому Лене Водовозу, который подарил мне утюг». Потом еще идет Манечка Аб. Она жадина и поэтому несет совсем маленький веночек...

Я заснул не раздеваясь.

Ночью я услышал, что кто-то плачет, и проснулся. Оказалось, это я сам плачу. Мне было себя очень жаль.

Я одинок, и никто мне не нужен. В школе и дома я ни с кем не разговариваю, а когда со мной заговаривают, не отвечаю. Я заметил, что становлюсь человеком необыкновенным. Многие на меня поглядывают как-то по-особенному. Дома я подслушал, как мама и Мила говорили обо мне. Оказывается, со мной творится что-то неладное.

Я после этого принялся за стихи. Я писал до самого вечера и исписал почти целую тетрадь стихами о лживом коммерческом директоре и о негодяйке Манечке Аб.

Когда я вышел к ужину, у меня кружилась голова и я пошатывался, как после болезни. Мама смотрела на меня со страхом. Она уже в который раз со мной заговаривала, но я не отвечал.

А сегодня утром, когда я шел в школу, мне сзади крикнули:

— Леня, подожди!

Я обернулся и увидел первачков, Наденьку и Витальку. Раньше я с ними часто ходил в школу и учил по дороге Наденьку произносить букву «р». Но сегодня я отвернулся от них и перешел на другую сторону.

— Задавака! — крикнула Наденька.— Задавака плотивный! Ты почему не хочешь идти с нами?

Я не ответил.

В этот день на перемене ко мне подошла Хмурая Тучка. Она сказала, что я стал другим человеком, буквально переродился. Понятно, почему Тучка меня похвалила: я стал тихоней, на уроках не разговариваю, вчера четверку получил.

— Я вижу,— сказала Хмурая Тучка,— что ты все-таки исправляешься.

— Отстань! — сказал я.

— Какой ты грубый!

Она отошла от меня сердитая, но на следующей перемене

я заметил, что Тучка о чем-то шепчется с Родионовым и оба посматривают в мою сторону. После этого Родионов подошел ко мне и предложил половину своего завтрака. Но я отказался. Генка Зайцев сразу же крикнул: «Давай мне!» — и Родионов отдал хлеб с колбасой ему.

— Леня,— сказал Родионов,— давай вместе уроки делать?

— Родионов,— сказал я,— ведь тебя подучила Хмурая Тучка.

Родионов хотел сказать, что вовсе нет, но сразу же передумал. Он не умеет врать.

— Ну и что? — сказал он.— Если б ты мне не нравился, я бы тебе не предлагал.

— Спасибо, Родионов,— сказал я.— Спасибо тебе! Но это невозможно.— И я отошел.

Последним уроком у нас была физкультура. Мы занимались во дворе. Родионов от физкультуры освобожден, но он домой не пошел, а маршировал в сторонке, как и мы. Физрук Анатолий Трофимович на него поглядывал, но ничего не говорил. Когда мы начали делать вольные упражнения, Родионов тоже попробовал, но правая нога его не слушается, и ничего не выходило. Он отошел, сел прямо на землю, облокотился на стену школы и надвинул фуражку на глаза. Может, он дремал, а может, о чем-то думал. Откуда мне знать? Наверно, он остался из-за меня.

Когда прозвенел звонок, он встал и пошел ко мне, но я сделал вид, что не замечаю, и побежал в школу переодеваться. Переодевшись, я посмотрел в окно и увидел, что Родионов все еще во дворе. Мне было неловко перед Родионовым. Я решил убежать от него.

Я уже подбегал к калитке, когда услышал, что Родионов меня окликает. Я не обернулся. Только на улице я взглянул через плечо и увидел Родионова — он бежал к калитке. Никогда не забуду, как он бежал, хромой, очень старался и поправлял на ходу фуражку. Что же это получилось? Я побе-

жал изо всех сил, чтобы свернуть за угол раньше, чем Родионов выбежит на улицу.

Дома я старался не вспоминать о Родионове. Я сел было за уроки, но заниматься не хотелось, и я решил пойти погулять.

Я прошелся по нашей улице, потом свернул в другую, потом еще. И неожиданно я увидел Родионова. Он так же, как и на школьном дворе, сидел, прислонившись спиной к стене дома и надвинув фуражку на глаза. Прохожие на него посматривали, и некоторые пожимали плечами. Рядом с Родионовым лежал портфель. Так, значит, он еще не был дома.

— Родионов,— крикнул я,— что ты здесь делаешь?!

Он сдвинул фуражку на затылок и улыбнулся.

— Отдыхаю,— сказал он.

— Как — отдыхаешь? — спросил я.— Почему ты здесь? Ведь твой дом на Чапаева.

— А я каждый день хожу домой другой дорогой,— сказал Родионов.

— А зачем? — спросил я.

— А для интересу,— ответил Родионов.

Я хотел сказать Родионову, что он чудак, но передумал.

— Ты от меня сегодня сбежал? — спросил Родионов.

— Сбежал,— сказал я.

Но Родионов не рассердился.

— Идем ко мне? — сказал он.— Будем вместе делать уроки. Мама очень обрадуется.

— Я схожу за тетрадями,— сказал я.

— Не надо, у меня есть тетради.

Мне еще не приходилось бывать в таких славных домах! Дом Родионовых был как живой, и если что-нибудь говорили в доме или двигались, он как будто видел и отзывался: то скрипнет, то пропоет дверью. Мне даже показалось, что в этом доме живет домовой, потому что откуда-то доносились вздохи. Толик правду говорил: его мама мне обрадова-

лась. И отец тоже обрадовался. И дом тоже: он весело чем-то звякнул в сенях. Вот это дом!

Меня пригласили пообедать вместе со всеми. Я сначала стеснялся, но за столом говорили о смешном, и я начал смеяться вовсю.

Потом мы с Толиком пошли заниматься в другую комнату, и я понял, кто это вздыхал: я увидел в кресле Толину бабушку, она как раз вздохнула, когда мы вошли. Она не шевелилась, и я думал, что она нас не заметила. Но Толик подвел меня к ней и сказал:

— Бабушка, это мой друг Леня Водовоз, познакомься.

Бабушка мне протянула руку, но лицо у нее осталось неподвижным.

— Бабушка не встает,— сказал Толик.— Уже два года. И обедает она в другое время.

Бабушка наклонила голову, послушала, что Толик сказал, и кивнула.

— Я,— сказала она,— обедаю в семь часов. Так мне хочется.— И лицо у нее опять стало таким, как будто в комнате никого нет.

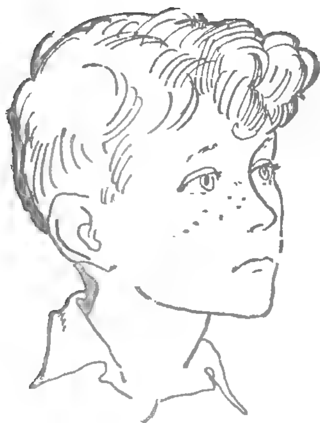
Мы сели за уроки. И смотрю: Родионов ставит на стол четыре флакона.

— Это чернила,— сказал он.— В этой бутылочке из марганцовки, в этой красные, в этой синие, а в этой фиолетовые.

— Родионов,— спросил я,— зачем тебе столько чернил?

— Для интересу,— сказал Родионов.— Я на черновике разными чернилами пишу.

Мы начали решать примеры по арифметике, и я для интереса тоже стал писать то красными чернилами, то фиолетовыми, то синими... Я посмотрел в черновик Родионова и увидел, что равняется он пишет или так ⟋ , или вот так ⟍ , но я не стал спрашивать, зачем он так пишет, потому что уже понимал, что это тоже для интереса. В общем, мы и не заметили, как сделали арифметику и русский.



После этого мы начали учить историю и географию, и тоже выходило интересно, потому что Толик учил сам и бабушке рассказывал. Бабушка кивала головой и часто удивлялась.

Когда мы кончили заниматься, то мне даже жаль было, что больше ничего не задано. Мне не хотелось уходить от Родионова.

Толик пошел меня проводить.

Мне в тот вечер совестно стало, что я ни с кем так долго не разговариваю в школе и дома. Я даже перед прохожими чувствовал себя виноватым и помог какой-то старушке донести до дому кошелку, хоть она меня и не просила.

Но такое настроение у меня было не долго: дома я застал коммерческого директора. Он ухмыльнулся и сказал: «Добрый вечер». Я снова был зол на всех. Вот и хорошо! А то чуть было опять не стал обыкновенным человеком. Что за интерес быть как все, раз можно быть необыкновенным? С Родионовым я, конечно, буду дружить, а всех остальных знать не хочу.

НОВЫЕ ТУФЛИ УЧИТЕЛЯ ТАНЦЕВ. КОСМИЧЕСКИЙ ПАРУСНИК «БАБОЧКА»

Родионов приносит мне счастье: я получил две пятерки, две четверки и нашел двадцать копеек на орле. Мне уже не все равно, как дальше пойдет моя жизнь.

И в тот день, когда я нашел двадцать копеек, мне по дороге из школы встретилась «скорая помощь», я быстро сделал пальцы крестом и зашептал: «Мое горе на заборе, я бро-

саю горе в море...» — в общем, все сказал, как положено. Я смотрел вслед «скорой помощи», и мне было весело. Не так уж все плохо на земле, как мне казалось. Вот только дождь надоел. Он лил как по расписанию: каждые полчаса. Потом на полчаса краны закрывались.

В три часа пришел учитель танцев. Он был без плаща и вымок, и когда он снял пиджак, то заметно было, что и рубашка на плечах у него мокрая. Он все время прислушивался к голосам в другой комнате. Я старался в тот день, и он сказал, что дело идет на лад и скоро я смогу обходиться без него.

Я заметил, что на ногах у учителя танцев новые туфли, черные, с длинными носками. Хорошие туфли. Я люблю рассматривать обновки.

— Сегодня купили, да? — спросил я.

— Сегодня, — ответил он. — Тебе нравятся?

— Угу, — сказал я. — Сколько стоят?

— Двадцать пять.

— Ого! — сказал я.

Учитель танцев был такой довольный... Вот уж не думал, что он может так обрадоваться новым туфлям!

— Вы видели меня на вечере поэзии? — спросил я.

Он видел. Он спросил, почему я убежал. Я рассказал. Он кивал.

— Да, да, — говорил он, — все мы виноваты перед нашими мамами.

Я спросил про девушку, которая ремонтирует пути, — помирился ли он с ней?

— Мы не знакомы, — сказал он. — Просто зимой, когда я возвращался из университета, я видел, как она работает, и чувствовал себя виноватым перед ней.

— Это как перед негром из Анголы? — спросил я.

— Ну да.

Мы с ним разговаривали, и я не слышал, как к нам при-

шел коммерческий директор. Он вошел в мою комнату разодетый — в черном костюме и белой рубашке. За ним вошла Мила, тоже нарядная.

— Ну,— сказала она,— давай мириться.— Она протянула мне руку.— И с Валей помирись.

Коммерческий директор улыбался. Он думал, что я ему тоже подам руку, но я взял ручку и начал царапать в тетради.

— Какое удивительное упрямство! — сказала Мила.

Коммерческий директор покачал головой.

Чего это они так разоделись? Я не слушал, что мне объясняет учитель танцев. А Милин голос уже доносился из передней; потом хлопнула дверь. И вижу: учитель танцев подошел к окну и смотрит на улицу. Я стал рядом с ним. Мы видели, как Мила и коммерческий директор прошли по улице под руку, под одним зонтиком, они смеялись, прыгали через лужицы.

Учитель танцев дал мне задание и ушел.

Я вышел в другую комнату. Я спросил у мамы:

— Куда это они пошли?

— Не твое дело! — ответила мама.— Ты почему не подал Валентину руку?

Но я решил, что все равно узнаю, и стал ждать папиного прихода.

Когда часы пробили пять, я в окно стал наблюдать за трамвайной остановкой. И скоро я увидел, как из трамвая выходит папа, и пошел в ванную. Как я думал, так и получилось. Мама открыла папе дверь и сразу же сказала:

— А наши молодые пошли заявление подавать.

Я вышел из ванной, стоял и смотрел на моих родителей.

— Ты что? — спросила мама.

— А! — сказал я и прошел мимо папы в открытую дверь.

— Надень плащ! — крикнула мама.— Ты слышишь?!

Но я вышел на улицу и пошел под дождем.

Что мне делать? Если человек говорит хорошие слова и улыбается, то попробуй докажи, что он негодяй.

Обидней всего, что даже мама мне не верит.

Я пришел к Родионову совсем вымокший. Мне велели снять пиджак, рубашку и брюки, и Толик мне дал свои одежки. Потом меня поили чаем. И я думал: «Как хорошо у Родионовых! Вот если бы у меня были такие родители»...

Мы сели за уроки, и мне все время хотелось сказать Родионову что-нибудь хорошее.

— Толик,— сказал я,— мы друзья, правда?

— Друзья,— сказал он.

— Очень здорово, что мы подружились,— сказал я.

Толик посмотрел на меня. Было заметно, что он волнуется.

— Леня,— сказал он,— может, ты все-таки согласишься строить ракету? Это только кажется, что ее нельзя построить. Это будет не обычная ракета, а парусник. Хочешь, я покажу тебе проект?

Мне захотелось вдруг, чтоб ракету на самом деле можно было построить. Улететь бы куда-нибудь подальше! Пусть на земле остается Манечка Аб со своей противной матерью! Пусть коммерческий директор женится на моей сестре! Какое мне дело? Жаль только, что нельзя улететь сегодня же.

Родионов встал и пошел к двери, он зацепил ногой стул, а я смотрел на него и тоже волновался. Толик открыл дверь в другую комнату и сказал:

— Папа, я решил показать Лене проект.

Отец Родионова вошел в комнату и сел за стол.

— Ну что ж... — сказал он.

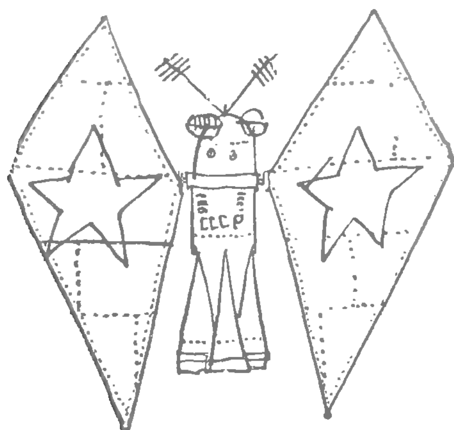
Толик положил на стол большой лист бумаги. На листе был чертеж.

— На бабочку похоже, правда? — сказал Толик.

— Толик,— спросил я,— она что, крылатая? Что это за ракета такая?

— Парусная,— ответил отец Толика.— Обыкновенный космический парусник. Только толкать его будет не ветер, а солнечный свет. Понимаешь, свет давит на предметы, но так слабо, что мы этого не ощущаем. А в космосе нет сопротивления, и если сделать большие паруса, то корабль будет мчаться с громадной скоростью.

— Ты понял? — спросил Толик.— Эти паруса будут выдвигаться уже в космосе, а с земли корабль взлетит при помощи обыкновенного ракетного двигателя. Конечно, такой двигатель построить не просто, но если мы начнем уже сейчас изучать ракетостроение, то лет через десять—пятнадцать сможем построить такой корабль и совершить первое в мире любительское путешествие в космос.



Мы еще долго говорили о нашем проекте. Толик называл ракету «Бабочкой». Ну что ж, мы ее построим! Я не заметил, как из комнаты вышел отец Толика; мы опомнились, только когда по радио зазвонили кремлевские куранты.

Толик вышел меня проводить. Мы смотрели на небо, но оно в эту ночь было покрыто тучами.

Мне не хотелось думать ни о чем земном. Но дома на меня набросилась Мила:

— Ты почему не подал руку Валентину?

— Мила,— сказал я,— подал не подал — все это такие мелочи, что об этом говорить не стоит.

Ох уж эти мне земные дела!

Я в эту ночь долго не мог заснуть. За дверью храпел папа. Представляю, какое у него будет лицо, когда он узнает, что я покинул Землю!

ЛЮБОВЬ КОРОЛЬКОВА

Не хотел бы я быть Корольковым. На физкультуре он еще ни разу не перепрыгнул через козла: разгонится — и смотришь, сидит верхом. Кавалерист!

В тот день, когда я узнал, что Корольков влюблен, я после уроков выпускал стенную газету. Я не член редколлегии, но Хмурая Тучка попросила меня написать заметку. Она сказала, что у меня это здорово выходит. Ну, раз она меня похвалила, то я решил сделать.

Я написал заметку и потом еще долго сидел на парте рядом с Тучкой и смотрел, как наш художник Палкин рисует карикатуры.

Когда я вышел из школы, во дворе возле ямы для прыжков я увидел Королькова. Портфель его лежал на земле, между стойками был натянут шпагат, а Корольков разминался. Раз, два! — он поднимал руки и потом доставал до носков ботинок. Возле Королькова стояли два третьеклассника и хохотали так, что у них слезы на глазах выступили. Ну потеха!.. Зад Королькова оттопыривался, и брюки так натягивались, что просто не верилось, что штаны все еще не лопнули.

Потом Корольков начал прыгать. Он взял разбег метров с десяти, но когда подбежал к яме, то только и сумел дрыгнуть ногами и повалился на шпагат. Стойки упали, одна треснула Королькова по спине, а другая по шее. Но Корольков встал, поставил стойки на место и опять приготовился прыгать.

Я решил ему показать, как это делается.

— Смотри, Корольков,— сказал я и взял высоту с места.— Смотри! — И я из ямы перепрыгнул опять через шпагат.— Понял, Корольков? — сказал я.— А ну попробуй!

Он попробовал и хоть и не перепрыгнул, но все же получилось лучше. Он долго еще старался, а я стоял возле ямы и руководил.

Потом мы вместе пошли домой. У Королькова вид был совсем унылый.

— Леня,— сказал он,— неужели я никогда не смогу быть как все?

— Нет, Корольков,— сказал я.— Куда тебе!.. Ты целый день сидишь за уроками, никогда не бегаешь, не играешь в футбол. Куда тебе!..

— Так меня же не берут играть в футбол,— сказал Корольков.

— Так ты же, Корольков,— сказал я,— не можешь попасть ногой в мяч...

Корольков совсем расстроился. Руки у него были грязные, он вытирал ладонями потное лицо и стал таким чумазым и грустным, что мне его даже жаль стало.

— Леня,— сказал он,— я на тебя уже не обижаюсь за то, что ты меня щипал. Потренируй меня, пожалуйста. Я хочу научиться прыгать.

— Ладно, Корольков! — сказал я.— Давай-ка для начала пробежимся.

Я бежал не очень быстро, но Корольков за моей спиной так пыхтел, как будто он не бежит, а борется.

— Живей, Корольков! — говорил я.— Живей, рахитик! Не то из тебя ничего не получится.

Скоро я обернулся и увидел, что Корольков уже выдохся. Ноги у него прямо-таки заплетались.

— Ну, на сегодня хватит,— сказал я и велел Королькову поднимать и опускать руки, чтобы поскорей отдышаться.

Потом мы сели в сквере на лавочку. Корольков опять

начал вытирать ладонью свое красное лицо, но настроение у него уже было получше.

И вот видим: по улице бежит Хмурая Тучка. Всегда она бегает вприпрыжку, ударяя по портфелю то одной коленкой, то другой. Она нас увидела и забежала в сквер. Хмурая Тучка села рядом с нами и стала рассказывать о том, какая хорошая получилась газета. Мы встали со скамейки, вышли из сквера, дошли до угла, где нам надо было сворачивать, а она все рассказывала о газете.

Потом она попрощалась с нами и опять побежала вприпрыжку. Я уже хотел идти, но Корольков все смотрел ей вслед.

— Корольков, ты что? — спросил я.— Ты, может, влюблен?

— Нет,— ответил Корольков.— Нет, что ты! — А сам все смотрел вслед Хмурой Тучке.

— Чудак ты! — сказал я.— Если влюблен, то признавайся. Что тут особенного?

Я сам был влюблен в Светку Пронину, приходил каждый день под ее балкон и бросал ей конфеты. Только моя любовь скоро прошла. Раз я увидел, как Светка съела пять яблок подряд, и сразу же ее разлюбил. Только не хватало, чтобы я любил обжору. Но я не ожидал, что Корольков тоже может влюбиться. Пока мы дошли до его дома, он три раза споткнулся и все время улыбался.

— Леня,— спросил он,— как ты думаешь, ей можно об этом сказать?

— Конечно,— ответил я.— Раз ты влюблен, то должен ей об этом сказать. А то ж она ничего не узнает.

— Да? — Ну и улыбка у него была! Как у дурачка.

И тут я кое-что придумал.

— Приходи сегодня,— сказал я,— делать уроки к Родионову, я тебе помогу.

Ха-ха! Корольков влюблен! Я до самого дома улыбался.

А дома, как только пообедал, сразу же сел писать для Королькова письмо в стихах.

Когда я пришел к Родионову, Корольков был уже там.

— Корольков,— сказал я,— твое дело в шляпе,— и протянул ему письмо.

Корольков начал читать. Он улыбался и краснел.

— Леня,— сказал Корольков,— тут все очень хорошо, только одно место неправильно.

— Все правильно, Корольков! — сказал я.— Ты меня слушай.

— Нет,— сказал Корольков,— вот в этом месте не так. Тут написано:

Но с той поры, как я тебя увидел
Под деревом сидящей на траве,
Незабываема ты стала мне,
И я храню в душе любовь к тебе...

Все это было не так,— сказал Корольков.

— На траве — не на траве,— сказал я.— Какая разница?!

Но Корольков заупрямился.

— Это было не так,— сказал он,— я ее полюбил после того, как увидел на физкультуре в белой форме.

— Корольков,— сказал я,— так она же этого не знает! Пусть она думает, что ты ее полюбил, когда увидел под деревом на траве.

— Нет,— сказал Корольков.— Нет. Я ее не видел на траве, я ее видел в белой форме.

Далась ему эта белая форма. Он расстроился и все твердил: «Это неправда, это неправда»,— и ничего нельзя было ему доказать.

Наконец я сказал:

— Ладно, переписывай письмо, я сделаю так, что ты ее увидишь под деревом на траве.

Мы втроем вышли на улицу и пошли к Хмурой Тучке.

— Леня,— спрашивал Корольков,— а ты уверен, что она меня полюбит, когда прочтет письмо?

— Еще бы! — говорил я.— Как пить дать!

Нет, я тоже был влюблен, но все же я кое-что тогда соображал. Корольков даже дорогу забыл и два раза сворачивал не на ту улицу. Мы подошли к дому Хмурой Тучки, и я свистнул, а потом еще закричал:

— Ту-у-чка!

Из окон начали ругаться, но мы не обращали внимания. Тучка выбежала на балкон, и я ей сказал:

— Тучка, иди вниз!

— Зачем? — спросила она.

— Все узнаешь,— сказал я.— Скорей!

Она выбежала на улицу, и видно было, что ей не терпится узнать, зачем мы ее позвали.

— Тучка,— сказал я,— ни о чем не спрашивай, скоро все узнаешь. Пошли в парк.

По дороге в парк Тучка пожимала плечами, глаза у нее были любопытные.

— Нет, правда,— говорила она,— зачем вы меня позвали?

В парке я выбрал березку возле пруда и велел Тучке сесть под эту березку на траву.

— Зачем? — спросила Тучка.

— Не спрашивай! — сказал я.— Садись, и все!

Она пожала плечами и села, а я сейчас же схватил Толика за руку и потащил за собой из парка. Мы все время оглядывались и заметили, как Корольков протянул Тучке письмо.

Мы вернулись к Толику и сели за уроки. Но Корольков что-то уж очень скоро пришел. Я только взглянул на него и сразу понял, что Тучка его отвергла.

— Сема, ну как? — спросил я.

— Она не поверила,— ответил Корольков.— Она догадалась, что это письмо написал не я.

Корольков страдал, и мы с Толиком утешали его. И Корольков тоже взялся за уроки. Он хоть и был отвергнут, а выполнил все, что было задано, еще и научил нас с Толиком решать задачки.

Я пошел домой, потому что мне в тот день надо было мыться, а Корольков остался у Толика.

И вот на следующий день Толик подходит ко мне с Корольковым и говорит:

— Леня, я Семе все рассказал. Он тоже хочет лететь в космос.

— Толик,— закричал я,— да ты с ума спятил! Куда ему лететь в космос! Он же на двадцать сантиметров подпрыгнуть не может.

— Я научусь,— сказал Корольков,— ты же меня тренируешь. Я должен обязательно слетать в космос.

— Ну, Корольков,— сказал я,— зачем тебе космос? Тебе и на земле хорошо. Ты отличник, умеешь выступать на собраниях.

— Я хочу в космос! — сказал Корольков.— Хочу, и все! Я готов на все, лишь бы полететь.

— Видно, придется его взять,— решил я.— Ладно, Корольков, полетели с нами,— сказал я.— Ты будешь первым отличником в космосе.— Но я все же не удержался и вздохнул.

После уроков я опять тренировал Королькова. Если из него получится космонавт, то это будет просто чудо.

ПАПА ПАРАСКЕВИЧА

Я уже и думать забыл о том, что порвал рубашку Параскевичу, но в среду после уроков в класс вошел отец Параскевича, положил на стол портфель и сказал:

— Я удивлен! Оказывается, в этом классе есть ученики, которые ни с того ни с сего рвут рубашки.

Отец Параскевича говорил, что он сначала не поверил этому, а сегодня утром, когда встал, спросил у Алешкиной матери, правда ли, что Алешке ни за что ни про что порвали рубашку, или это ему приснилось.

Как он удивлялся! Он прикладывал руки ко лбу, к щекам, разводил их, сводил, выкатывал глаза, щурился, жмурился, втягивая голову в плечи, вздыхал, цокал языком, озирался — просто кино!

И самое удивительное, говорил отец Параскевича, что это происходит тогда, когда существует такая чудесная игра, как шахматы. Зачем драться, шпынять друг друга, рвать рубашки, когда можно сесть за шахматную доску и спокойно сразиться.

Потом он вдруг замолчал и стал на меня смотреть. Теперь он удивлялся молча. Он только сказал:

— Просто удивительно, что это сделал такой симпатичный мальчик.

Мне было не по себе. Ну сколько можно на человека пялиться?

Наконец он опять заговорил. Он сказал, что вовсе не собирается требовать, чтобы меня наказали. И бог с ней, с этой рубашкой. Она так удачно порвана, что Алешкина мать ее застрочила и почти ничего не видно. Он сказал, что хочет одного, чтобы я понял, что так нехорошо делать, и помирился с Алешкой.

Он подошел к столу, открыл портфель и достал шахматы. Он усадил меня с одной стороны стола, а Алешку с другой, и мы расставили фигуры. После этого отец Параскевича сел на стул, достал платок и вытер свой потный лоб.

Но он не долго отдыхал и скоро опять начал удивляться. Он посмотрел на портрет Пушкина. Этот портрет висит в нашем классе над доской.

Отец Параскевича сказал, что всегда удивлялся людям, которые так криво вешают портреты. Потом он походил

по классу и осмотрел парты. Просто удивительно, сказал он, что дети, вместо того чтобы заниматься, вырезают на партах разные глупые словечки.

Когда он ушел, в голове у меня гудело и я чувствовал себя таким одуревшим, что даже не помнил, сколько раз проиграл Алешке.

Алешка дал мне фору ферзя и все равно выиграл. Нет, в шахматы его не одолеешь.

— Вот что, Параскевич,— сказал я,— в шахматы твоя взяла. Теперь пошли ко мне и сыграем в дурачка.

Ему не очень-то это понравилось, но он все же согласился.

Сначала Алешка сказал, что сыграет только два раза, но потом разохотился, и мы сыграли, наверно, раз десять. Алешка уже не важничал, он так шлепал картами и волновался, что просто загляденье.

Я спросил:

— Алешка, не хочешь ли ты слетать в космос?

— Водовоз, ты несерьезный человек,— ответил Параскевич.— Прошлый раз ты предлагал строить штаб, теперь ты предлагаешь лететь в космос. Ты что, космонавт? У тебя есть ракета?

— Построим,— сказал я.— Может, ты думаешь, что это неосуществимо?

Но Параскевич уже заважничал. Он как будто и не слышал, что я ему говорю. Он посмотрел на свои часики «Уран», пробормотал, что потерял уйму времени, и пошел к двери. Я стал рассказывать ему о «Бабочке». Он не дослушал.

— Это детская затея,— сказал Параскевич.

Он ушел. Я собрал карты и швырнул колоду в ящик. Видно, прирожденных космонавтов на земле не так уж много.

ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ? НЕВОЗМОЖНАЯ МАНЕЧКА АБ

Мила уже не сердится на меня; она пришла в мою комнату и предложила:

— Давай сходим в город.

И чего вдруг?! Мы уже давно с ней не гуляли. Раньше другое дело: бывало, ходили в кино, перед сеансом мороженое ели — весело было!

Мама принесла мне выглаженные брюки и чистую рубашку. Я переоделся. Я не спрашивал, что они задумали.

Мила повела меня есть мороженое. Мы съели по двести граммов клубничного. Мила улыбалась мне.

— А теперь мы пойдем в магазин.

Я спросил:

— Зачем?

— А вот увидишь.— Мила обняла меня за плечи.— Я хочу,— сказала она,— чтобы ты полюбил Валентина.

Я не ответил.

— Ну если ты не можешь его полюбить,— сказала Мила,— то хотя бы веди себя прилично. На что это похоже?

И тут я увидел коммерческого директора. Он шел нам навстречу, махал рукой, улыбался. Он спросил:

— Так что мы будем покупать? Может, ракетки для бадминтона?

— А что?.. — сказала Мила.— Неплохая идея.

Мы пошли в магазин «Спорттовары», и коммерческий директор купил две ракетки в чехле и к ним два волана.

— Нравится? — спросил он меня.

— Нравится,— ответила Мила.— Теперь идемте есть мороженое.

Опять мы ели мороженое. Я вел себя прилично. Коммерческий директор сидел напротив меня. Он вздохнул.

— Примирение не состоялось,— сказал он.— Давай поговорим по душам. Почему ты меня не любишь?

— Вот именно,— сказала Мила.— Валентин к тебе так хорошо относится.

Я хотел ответить: «Он подлизывается»,— но не стал этого говорить.

Многие Милины ухажеры ко мне подлизывались. Один приносил лампочки для моего фонарика, штук тридцать принес. И кому может понадобиться столько лампочек? Уж не знаю, где он их брал. Мы дома всегда смеемся, когда вспоминаем этого парня. Мы уже не помним, как его звали; мы его называем «тот, который лампочки приносил».

Другие тоже что-нибудь приносили — конфеты, шоколадки, а Димка Мартышко собрал транзисторный приемник.

А теперь ко мне подлизывается коммерческий директор: трешницу давал, вот ракетки купил. Но не могу же я его полюбить за это: я же помню, каким он был на пляже — злым, несправедливым.

— Ты меня еще полюбишь,— сказал коммерческий директор.— А эту вещицу ты помнишь?

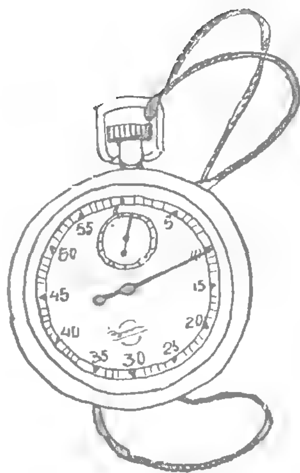
Он протянул мне коробочку, сам снял крышку. В коробочке был секундомер.

— Ты, может, думаешь, что я к тебе подлизываюсь? — спросил коммерческий директор.— Какой мне смысл? Я хочу, чтобы мы были друзьями. А ну не дури...

Он пересел на другой стул, поближе ко мне, и стал объяснять, как обращаться с секундомером. Он называл его «хронометр». Два раза он дотронулся до моей руки. Что такое? Я слушал, кивал. Я включил секундомер, завел его. Коммерческий директор сказал:

— Не усердствуй, дружок, пружина может лопнуть.

Потом он заказал мандариновый сок. Секундомер в коробочке лежал возле меня, ракетки Мила переложила ко мне на колени. Вот как получилось.



Неужели я смогу полюбить коммерческого директора? А что? Теперь он ко мне хорошо относится. Теперь можно и забыть о том, что он плохой человек,— не думать об этом, и все. Получай себе подарки...

За что любить людей? Я всегда думал, что людей надо любить за то, что они хорошие, честные. Я на маму сердился из-за того, что она недолюбливает нашу соседку Кононову. Мама говорит, что Кононова гордячка. И пусть! Разве можно человека не любить за то, что он гордый. Если он негодяй — другое дело. Но у мамы уж так получается: если человек ей угодит или поможет в чем-нибудь, она его любит. Нет, я таким не буду. Не стану любить плохого человека, хотя он мне и подарил ракетки и секундомер. Сейчас встану и уйду. Только вот неловко выйдет. Лучше уж я подарки возьму, а дома в Милину комнату отнесу.

— А теперь в кино? — спросил коммерческий директор.

Я сказал, что не могу.

— Это почему же? — Мила нахмурилась.

Я стал что-то врать про тренировку. Я запутался. Мила и коммерческий директор заметили.

— Воображаешь? — сказала Мила.— Мы с тобой возимся, а ты ведешь себя по-свински. Валентин это делает ради меня... Но хватит, черт с тобой!

Коммерческий директор сказал:

— Ну-ну, не надо сердиться.

Он сам положил секундомер мне в карман, ракетки вложил мне в руку.

— Тренировки не следует пропускать,— сказал он.

И я ушел.

Дома я отнес подарки в Милину комнату. Мама их там сразу обнаружила, принесла в мою комнату и бросила на диван.

— Не понимаю, что тебе надо,— сказала мама.— Человек так к тебе относится!..

Я вспомнил, что мама одно время не любила папиного заместителя Мищенко. Она говорила о нем: «неприятный», «черствый», «себе на уме». Но вот летом Мищенко помог достать для папы путевку в санаторий, и мама стала говорить о нем по-другому: «А он оказался прекрасным человеком!» Два раза Мищенко был у нас в гостях. Мама с ним и его женой очень любезна. А папа говорит о Мищенко, что он хороший специалист. А «себе на уме», «неприятным», «черствым» Мищенко уже перестал быть.

А если бы не помог достать папе путевку? Нет, я таким, как мама, не буду.

Я вспомнил, что злюсь на Лапушкина из-за того, что Лапушкин недавно, когда пришел в класс перед уроками, со всеми ребятами поздоровался за руку, а со мной нет. А я все равно его буду любить! Ведь он же хороший парень! Я решил пойти к Лапушкину.

Лапушкин встретил меня не очень-то радостно. Мы посидели на диване, поговорили о футболе. Лапушкин никак не мог понять, зачем я к нему пришел. Он спросил:

— Может, тебе десять копеек нужны, которые мне одолжил?

Я ответил:

— Что ты! Я просто так зашел.

Но все равно у нас разговора не получилось. Я попрощался с Лапушкиным за руку. Он сказал:

— Ну, бывай! Мне нравится, что ты не мелочный.

Я улыбался, когда шел от Лапушкина. Как хорошо, что я

его люблю бескорыстно! Просто так, за то, что он хороший парень.

А потом я увидел, как на Манечку Аб напали два четвероклассника: они дергали ее за косы, ставили ей подножки. Манечка вопила, отбивалась, но четвероклассники были увертливые — Манечка зря руками размахивала. Я подскочил, дал одному по шее, а другой сам отбежал.

Манечка была растрепана, платье ее на плече было порвано, чулки гармошкой — бедняга. Я вспомнил, что Манечкин отец бросил их с матерью. И вот какой у Манечки вид...

По-моему, всякого человека нужно любить, если у него случилось несчастье.

В прошлом году в нашем классе учился Герка Сомов. Его никто не любил: он был ябедой и подлизой. На меня он раз наябедничал Ольге Гавриловне. Я его терпеть не мог. Но весной у Герки умер отец, и все в классе к нему после этого хорошо относились.

Я с ним, наверно, с неделю делился завтраками, а потом перестал: как-то забылось, что у него умер отец. Зря я перестал с ним делиться завтраками.

Я улыбнулся Манечке.

— Не бойся,— сказал я,— больше они тебя не тронут.

Я подошел к ней поближе, но Манечка отскочила.

— Не подходи! — завизжала она.— Я знаю, что ты задумал!

— Манечка,— сказал я,— да чего ты боишься? Я же тебя выручил.

— Не подходи,— сказала Манечка Аб,— знаю я тебя!..

Она перешла на другую сторону улицы. Так мы и шли: я по одной стороне, а Манечка Аб — по другой. Как же мне ей доказать, что я ее люблю? Я вспомнил, что Манечка вчера не могла ответить по географии. Если б кто-нибудь другой не ответил, Ольга Гавриловна двойку бы поставила, но Манечке Аб учителя прощают: она туповатая.

Я решил пойти к Манечке и позаниматься с ней географией.

Ну и переполошилась же Манечка, когда увидела, что я захожу в ее парадное!

— Что тебе надо, Водовоз? — закричала она.— Наговаривать идешь, да?

— Да не бойся, Манечка,— сказал я.— Я к тебе с пионерским поручением.

Мне открыла Манечкина мать. Я соврал, что пришел по поручению звена заниматься с Манечкой.

— А она что не идет? — спросила Манечкина мать.

— Она боится,— ответил я.

Манечкина мать вышла на лестницу.

— Иди, иди, не оглядывайся! — сказала она Манечке.

Я услышал, как она шлепнула Манечку. Манечка заплакала.

— Врет он! — закричала она.— Не получала я двойки!

Я даже не осмелился попросить Манечкину мать, чтоб она перестала драться: уж очень у нее злой вид. Она надавала Манечке еще и за порванное платье и ушла на кухню. А мы с Манечкой пошли в комнату и сели за стол. Манечка листала учебник и всхлипывала.

— Наябедничал! — говорила она.— Гад такой! Тебе нравится, что меня мать бьет, да? Она меня каждый день лу-упит.

— Манечка, я же не хотел,— сказал я.— Я же хочу, чтоб ты в следующий раз по географии ответила.

— Знаю я тебя... — сказала Манечка Аб.

Горько мне было. Я пришел помочь Манечке, а получилось, что мать из-за меня ее отлупила. Манечка читала вслух географию, всхлипывала и ненавидела меня.

— Манечка,— сказал я,— перестань плакать, а то ничего не запомнишь.

— Иди ты! — сказала Манечка.— Ябедник!



— Манечка! Я же тебя люблю! — сказал я.

— Хулиган! — ответила Манечка. Она выбежала в коридор и крикнула матери: — Мама, Водовоз сказал, что влюблен в меня.

Манечкина мать сразу же пришла в комнату.

— Тебе чего от нее надо? — спросила она.

Я стал бормотать, что пришел с пионерским поручением, заниматься...

— Да? — сказала Манечкина мать. — Убирайся подобру-поздорову.

Манечка показала мне язык. Невозможная Манечка! Я старался на нее не злиться. Я прогонял от себя злость.

Когда я спускался по лестнице, Манечка Аб вдруг выскочила на площадку и запустила в меня галошей. Прямо по затылку досталось. Я окончательно понял, какое это нелегкое дело — любить людей.

На следующий день Манечка в школе всем девчонкам в классе рассказала, что я в нее влюблен. Этого я уже не мог стерпеть. Я влюблен в эту уродину?! Позор! На перемене я надавал Манечке по шее, а она пожаловалась Ольге Гавриловне.

Ольга Гавриловна сказала мне:

— Если тебе нравится девочка, то незачем ее за это бить.

— Не нравится она мне! — закричал я. — Пусть только еще раз скажет, что я в нее влюблен!..

— Ну-ну, потише! — сказала Ольга Гавриловна.

На этом кончилась моя бескорыстная любовь к Манечке

лю. Лучше я кого-нибудь другого бескорыстно полюблю. Ну вот хотя бы Генку Зайцева: у него отец — пьяница, всю зарплату пропивает. Я хотел подойти к Генке Зайцеву и поговорить с ним, но что-то расхотелось. Дурак он. Какой интерес любить дурака?

Я решил подыскать для бескорыстной любви кого-нибудь другого.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА С ПАЗУХОЙ. НОВАЯ ШЛЯПА УЧИТЕЛЯ ТАНЦЕВ И МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕДОРАЗУМЕНИЯХ

Второй раз я встретил Пазуху, когда мы с Корольковым шли к Родионову делать уроки. Пазуха стоял посреди мостовой с поднятыми руками и старался остановить машину.

— Шурка, сволочь! — кричал Пазуха.— Прокати!

Машина проехала.

— Вот гад! — сказал Пазуха.— Не узнает!

Тут он увидел меня и заулыбался.

— Привет! — крикнул Пазуха.— Ты чего в кино не пришел? Обиделся, да?

Я не знал, что ответить. Забыл, что ли, Пазуха, как он сказал, что видеть меня не хочет, когда узнал, что я пишу стихи?

— Признавайся, обиделся? — спрашивал Пазуха.— Обиделся, да? Да брось ты обижаться.

Я ответил, что не обиделся.

— И не обижайся,— сказал Пазуха.— Я тебя в кино провел? Провел. А ты еще обижаться вздумал.

Он вытащил из кармана яблоко и дал мне.

— Ешь,— сказал он.— Только этому отличнику не давай.— Он кивнул в Семину сторону.

Мне перед Семой неловко было. Я решил яблоко не есть. Я надеялся, что Пазуха отвяжется от нас. Но он и не думал. Он шел и вспоминал, как провел меня в кино. Потом он начал вспоминать, как мы с ним повесили на лестнице черного кота.

Я глаза вытаращил.

— Ты что, не вешали мы с тобой черного кота! — сказал я.

— Так это был не ты? — спросил Пазуха.

Видно, у него здорово все в голове перепуталось. Он долго смотрел на меня, вспоминал что-то. Потом сказал:

— Кота мы повесили с Чмырем, а с тобой мы кирпич в трубу бросили. Вот черт, перепутал!

— Да нет же, Пазуха, и кирпич мы с тобой не бросали,— сказал я.— Мы с тобой в кино были.

Пазуха опять долго смотрел на меня, спросил, как меня зовут, почесал нос.

— Вот гадство! — сказал он.— Как же я забыл? Кирпич мы бросили с Лешкой Пончиком.

В это время мимо проходила тетенька с белой пушистой собакой на поводу, и Пазуха щелкнул собаку по носу. Собака завизжала, залаяла, тетенька начала кричать на нас, потом еще прохожие завозмущались. Такой гвалт поднялся, что нам пришлось немного пробежаться.

У Семы покраснели уши. Он косился на Пазуху, хмурился — видно было, что Пазуха ему здорово не нравится.

Я попробовал от Пазухи отвязаться. Я спросил:

— Ты куда идешь? Мы идём к товарищу заниматься.

Пазуха ответил, что и он с нами пойдет.

— Да нельзя,— сказал я.— Мы ж заниматься идем. А у тебя и тетрадок нет.

Пазуха обиделся. Он стал кричать, что я плохой товарищ, раз бросаю его на улице. Опять он вспомнил, что провел меня в кино. Потом вспомнил, что подарил мне напиль-

ник. Я сказал, что это не мне он напильник подарил. Пазуха еще сильней обиделся.

— Отказываешься? — кричал он. — Взял напильник, а теперь отказываешься?!

Я сказал:

— Да ладно тебе — не обижайся. Ну, идем с нами.

Тогда только Пазуха перестал кричать.

— Ты меня уважаешь? — спросил он.

Я хотел промолчать, но Пазуха смотрел мне в глаза, еще и плечом на меня навалился. Пришлось ответить:

— Уважаю.

— Тогда ешь яблоко, — сказал Пазуха.

Я предложил яблоко Семе, но он не взял. Я съел это дурацкое яблоко. Оно было мягкое, теплое и кислое. Никогда я не ел таких противных яблок.

Пришлось привести Пазуху к Толику. Мы занимались за столом в саду. Толик принес Пазухе тетрадь. Но Пазуха не стал вместе с нами писать. Он ходил по саду, подбирал яблоки; потом, когда мы кончили писать, он стал выбирать, из чьей тетради списать. Ему не понравилось, как написано у нас с Толиком. Он выбрал Семину тетрадь.

Пазуха отвлекался, сопел и все что-нибудь спрашивал у Толика: «Яблоки рвать можно?», «А это ваш дом?», «А у соседей рвать можно?», «Ты свой парень?», «У тебя что, нога не гнется?» Он еще что-то спрашивал, но я не запомнил. Он все время размахивал руками. В свою тетрадь он две кляксы посадил, а потом одну в Семину. Сема забрал тетрадь.

— Вот гад! — сказал Пазуха. — Погоди, еще встретимся...

Мы начали учить историю. Пазуха опять ходил по саду и подбирал яблоки. Карманы у него уже были набиты. Потом он отозвал в сторону Толика и стал ему что-то шептать. Не знаю, что он ему говорил. Он и со мной вздумал шептаться. Он спросил:

— Чего этот отличник к нам привязался?

Сема смотрел в нашу сторону и, наверно, все слышал. Мне надо было сказать Пазухе, что это не Сема, а он сам к нам привязался. Но я не смог этого сказать. Я сказал другое:

— Да брось ты! Это свой парень.

И тогда Сема схватил свои тетради и побежал к калитке. Мы с Толиком переглянулись, позвали его, но он не обернулся. Я побежал за ним.

Сема не останавливался, хотя я его все время окликал. Когда я его догнал, он не посмотрел в мою сторону. Я спрашивал:

— Сема, да что случилось?

Он долго не хотел отвечать. Но наконец сказал:

— Леня, ты плохой товарищ.

Вот это да! Я — плохой товарищ? Никогда мне этого не говорили. Мне говорили, что я хороший товарищ. Толик Сергиенко говорил, Игорь Первушонок. Я сказал Семе:

— Ты что?! Это недоразумение. Тебе показалось.

— Нет, плохой! — сказал Сема.— Если бы мне кто-нибудь сказал, чтобы я не делился с тобой яблоком, я бы с этим человеком разговаривать не стал. А ты этого Пазуху еще и к Толику повел.

— Так он же привязался! — сказал я.— Что же я мог сделать?

— Прогнать его надо было,— сказал Сема.— Я бы прогнал. А ты позволяешь меня обижать. Еще и шептался с ним обо мне.

Я опять сказал, что это недоразумение. «Так получилось, я же не хотел».

— Если ты мне друг,— сказал Сема,— то должен всегда это помнить. Я о тебе всегда помню. Я беру в школу бутерброд с котлетой, потому что ты любишь с котлетой. Раньше я брал с колбасой... А ты ко мне так относишься.

Мне стало совестно. Я сказал:

— Извини, это больше не повторится.

Лицо у Семы было уже не таким суровым.

— Я очень обидчивый, — сказал он. — А ты ко мне всегда пренебрежительно относишься.

И он стал вспоминать разные случаи, когда я к нему пренебрежительно отнесся. Он вспомнил, что недавно я обещал принести в школу книгу и забыл; потом он еще вспомнил, как я ему кричал: «Живей, рахитик!» — когда мы вместе бегали. Он многое вспомнил. Оказывается, я его каждый день обижал и не замечал этого.

— Сема, — сказал я, — честное слово, я тебя люблю. Хочешь, сейчас пойдем к Толику и я дам Пазухе в морду?

— Хорошо, — ответил Сема. — Он заслужил. Ты же умеешь драться. Дай ему.

Мы вернулись к Толику, но Пазухи там уже не было. Мне показалось, что Толик расстроен. Я подумал: может, и его я как-нибудь обидел. Я спросил:

— Толик, ты на меня не обижаешься?

Он покачал головой — показалось.

Когда я расстался в тот день с Толиком и Семой и шел один по городу, мне казалось, что на меня многие люди обижены: мама, соседка Лидия Ефимовна, Владимир Петрович.

Мне не хотелось идти домой. Я и не заметил, как оказался в центре города, в сквере возле памятника Ленину.

Хотя уже темнело, на площадке возле памятника на велосипедах разъезжали малыши. Ко мне подошла какая-то малышка, ухватила меня за брюки и начала показывать пальцем на все, что видела, и объяснять, как называется. Она показала на машину и сказала: «Масына», потом показала на цветы и сказала: «Светы». Я кивал. Раз ей нравится объяснять, так я покиваю, уж ладно. Но малышка не собиралась меня отпускать: она показывала пальцем на луну, на

фонарь, на детей и все объясняла, и я уже начал подумывать, как бы это от нее уйти так, чтобы она не обиделась. Я кивал, а сам озирался: может, думаю, увижу ее маму или бабушку. Но оказалось, что за малышкой присматривает учитель танцев. Он сидел на скамейке под фонарем, в новой шляпе, светлой, с маленькими полями, и что-то записывал в блокнот — наверно, стихи сочинял.

Я сказал:

— Здрасте! Вот это так шляпа! Вы не знаете, чья это малышка?

— А! — сказал он.— Ты уже познакомился с Машенькой. Она со мной гуляет. Ее родители пошли на именины, и мы их здесь ждем.

Машенька показала на шляпу учителя танцев и сказала:

— Сляпа.

— А ну-ка,— сказал я,— покажите, какая подкладка.

Хорошая шляпа. Я ее примерил, и мы посмеялись. Потом мы поговорили о поэзии.

Я спросил:

— Трудно?

— Что? — спросил учитель танцев.

— Будто не знаете? — сказал я.— Стихи сочинять.

— Трудно,— ответил он.

Я чуть было не сказал учителю танцев, что тоже пишу стихи, но удержался. Мы долго разговаривали.

Подошли Машенькины родители. Они были совсем молодые, наверно, как и учитель танцев, студенты. Машенькина мама рассказала, как вкусно кормили на именинах.

— А ты, Боря, проголодался? — спросила она учителя танцев.— Идем к нам, и мальчика с собой бери, мы вас покормим.

Учитель танцев отказался.

— Ты всегда отказываешься,— сказал Машенькин отец.— Это не по-товарищески.

Машенькина мать расстроилась.

— Почему ты такой, Боря? — спросила она. — Мы же знаем, что ты сейчас без денег.

Учитель танцев ответил, что у него есть деньги.

Машенькины родители ушли обиженные. Учитель танцев крикнул им вслед:

— Да не хочу я есть, черт возьми!

— Скотина ты, Борька, — ответил Машенькин отец, — у друзей поесть отказываешься.

— Ну что ты будешь делать, — сказал мне учитель танцев, — обиделись.

Я понимал: хоть он и сказал, что ему не хочется есть, а на самом деле он голоден. И денег у него нет... Такой уж у него вид, что это понятно: шляпа и туфли новые, а брюки и пиджак никудышные. Тяжело ему живется. Не то что коммерческому директору: тот не стесняется, лопает у нас вовсю.

И вот тогда-то мне пришло в голову помочь учителю танцев. Вот кого я буду любить бескорыстно! Я сделаю так, что он женится на Миле. У нас он не будет голодать: уж кто-кто, а мама умеет кормить. Только как это сделать?

Ни о чем другом я уже не мог думать и неожиданно стал прощаться с учителем танцев: мне захотелось побыть одному. Учитель танцев удивился, сказал: «Ну что ж, до свиданья!» Наверно, он обиделся. И что это получается? Ведь я его люблю, а вот обидел. Трудно жить на свете: то сам обидишь кого-нибудь, то тебя обидят.

Вот на прошлой неделе я ни с того ни с сего обидел Владимира Петровича. Он вызвал меня к доске и долго спрашивал, а потом, когда я сел на место, почему-то два раза улыбнулся мне. Я испугался, как бы он не подумал, что я подлиза, и не стал ему в ответ улыбаться. В конце урока мы нечаянно встретились глазами, и он нахмурился и кашлянул. Теперь я в школе стараюсь не попадаться ему на глаза;

сегодня заметил его в коридоре и убежал, чтобы не здороваться.

Я увидел, что навстречу мне идет папин заместитель Мищенко. Я решил поздороваться с ним без улыбки. Пусть он папе путевку достал, а я ему все равно улыбаться не буду — просто кивну и все! Я долго готовился и кивнул, как решил. Но он меня не заметил. Все! Больше я с ним не здороваюсь. Одни недоразумения!

Мне вспоминались разные недоразумения из моей жизни. Вспомнил я, как мы недавно копали картошку на пришкольном участке. Я накопал больше всех и решил помочь девчонкам. Но они подумали, что я хочу украсть картошку из их кучки, и прогнали меня.

Вспоминались мне и другие недоразумения. Вот, оказывается, как много их с человеком случается. Выходило: что ни сделаешь, обязательно недоразумение, и жить из-за этих недоразумений просто невозможно.

А дома у нас разве не недоразумение? Мила выходит замуж за коммерческого директора, а хорошего парня, учителя танцев, не замечает. Но этого недоразумения не будет. Я что-нибудь придумаю.

Я застал маму и Милу за чтением письма от Борьки. Борька писал, что все у него хорошо: работа идет хорошо, парень, который живет с ним в комнате,— человек что надо, время проводит весело. Мама кончила читать, отложила письмо и задумалась.

— Тут что-то не так,— сказала она.— Чувствует мое сердце, что он что-то скрывает.

— Конечно, — сказал я, — у него какие-то недоразумения.

— А ты чего поддакиваешь! — накинулась на меня Мила.— Она выдумывает, растравляет себя, а ты ей поддакиваешь. Какие еще недоразумения?

Я пожал плечами. Откуда мне знать? Может, он с кем-



нибудь поздоровался, а ему не ответили и теперь он переживает, или еще что-нибудь: ну, например, сказал какой-нибудь тетеньке: «Я вас понимаю», а ей послышалось: «Я вас обнимаю», и она разобиделась. Мало ли что может случиться...

Мама дала мне в кухне поесть и вернулась в комнату. Она опять заговорила с Милой о Борьке.

Потом она начала говорить шепотом. Не знает мама, какой у нее шепот. Еще лучше слышно. Она говорила о коммерческом директоре.

— Я о нем не могу сказать ничего плохого,— говорила мама.— Но вы так быстро все решили. У меня тревожно на душе.

Мила сердилась:

— Да перестань! Не хочу я этого слушать.

— Нет, ты послушай,— сказала мама.— Я боюсь за тебя. И Леня его не любит. Он что-то заметил.

— Ну как же,— сказала Мила,— Леня на него обиделся, потому что Валентин не отмерил тысячу метров для бега. Ты же знаешь, он из-за всякой чепухи может обидеться...

Я вошел в комнату.

— Ты что, подслушивал? — спросила мама.— Иди к себе.

— Нельзя ей за него выходить,— сказал я.— Он притворщик. Вы не верите? Он бил меня мячами! Ей за учителя танцев надо выходить!

— Какими мячами,— спросила Мила,— футбольными, волейбольными?

— За какого учителя танцев? — спросила мама. — Это кто?

— Не знаю, — сказала Мила. — Наверно, Ленька мне жениха подыскал.

Ну и хохотали они... Расспрашивали меня, где я откопал этого учителя танцев, хорошо ли он учит танцевать.

Я ушел из комнаты. Еще долго было слышно, как мама и Мила смеются. Пожалуйста: еще одно недоразумение!

В этот вечер я писал стихи о недоразумениях.

Я лег спать после двенадцати. И вдруг слышу, в соседней комнате запричитала мама. Она говорила, что забыла купить на утро хлеба. Она хотела одеться и сбегать за хлебом.

На этом закончились недоразумения этого дня. Я заснул. Утром, когда я шел в школу, меня окликнул Владимир Петрович.

— Леня, — спросил он, — ты что, недоволен четверкой, которую я тебе на прошлой неделе поставил? Так ведь ты на один вопрос не ответил.

— Да нет, — сказал я, — доволен.

— Ну, значит, мне показалось, — сказал Владимир Петрович. — Вот и хорошо. Объяснились. Я считаю, что всякое недоразумение надо сразу выяснять.

На первом уроке Ольга Гавриловна задала вопрос и показала пальцем в мою сторону. Она часто так вызывает: не по фамилии, а пальцем показывает. Я быстро встал и ответил на вопрос. Но оказалось, что Ольга Гавриловна на Генку Зайцева показывала. Она сказала:

— Ну, раз уж ты ответил, то я тебе поставлю отметку.

В классе засмеялись. Все же хорошо, что на земле случаются и веселые недоразумения.

ПАРАСКЕВИЧ МЕНЯЕТ РЕШЕНИЕ

На следующий день после встречи с Пазухой мы с Семой проходили мимо дома, где живет Параскевич. И вот видим: из парадного выбегает Борька, Алешкин брат, а за ним Алешка. Алешка догнал Борьку и так шлепнул его между лопатками, что какая-то птица на заборе громко закричала, вспорхнула и улетела за крыши. Потом началась смешная драка. Борька и Алешка так старались, что ой-ой-ой! И еще неизвестно было, чья возьмет. Сема хотел их разнять, но один Параскевич нечаянно ударил его локтем в живот, а другой дрыгнул ногой перед самым его носом. Сема едва успел отскочить. Хорошо, что из парадного выбежала мать Параскевичей.

Она оттащила Борьку от Алешки, пригладила Борьке чубчик, поцеловала его и повела в парадное. Борька хоть и четвероклассник, а не ревел, вид у него был даже довольный; Алешка возмущенно смотрел им вслед.

— Вот это да! — сказал Алешка.— Он мне набил шишку, а она его целует.

Я достал из кармана пятак и приложил к Алешкиной шишке над глазом. Алешка прижал пятак пальцем, и вижу — Параскевич плачет.

— Она меня уже не любит,— сказал Алешка.— Сегодня она Борьке дала больший апельсин и сказала ему пять раз «сынок», а мне всего два раза.

— Алешка,— сказал я,— меня дома никто не любит, но я же не плачу.

— Ничего ты не понимаешь! — сказал Алешка.— Раньше она меня больше любила, но Борька начал обыгрывать меня в шахматы. Вчера он выиграл у меня турнирную партию, а сегодня три партии подряд выиграл дома. Все! Я больше не вундеркинд.

Мы с Семой попробовали его утешить, но где там... Алешка всхлипывал и причитал:

— Ну как мне теперь жить?! Ну как?! Они мне каждый день говорили, что я необыкновенный; у них были слезы на глазах, когда они на меня смотрели, а теперь оказалось, что я не вундеркинд!

— Алешка,— сказал я,— да плюнь ты на все это! Давай с нами строить ракету. У нас уже проект есть.

— Да? — сказал Алешка.— Так это просто: взял и построил! Где мы возьмем материалы? Из чего строить, у вас есть? Вон нам в кухне надо пол переложить, так в домоуправлении нет досок. Ты просто ребенок, Леня. Думаешь, все так просто.

Он больше не хотел со мною говорить. Он сидел на ступеньке у входа в парадное и сокрушался, что уже не вундеркинд.

Подумаешь, несчастье!

— Пошли, Сема! — сказал я.

Параскевич все же нас окликнул.

Мы обернулись — он бежал к нам изо всех сил.

— Я хочу посмотреть ваш проект,— сказал он.

Мы повели его к Родионову. Толик сидел в саду. Он сходил в дом и принес проект. Алешка взял в руки лист и сразу же заважничал.

— Да разве это проект! — сказал он.— Это бумажка, и больше ничего. Вы даже не знаете, что такое проект, а хотите лететь в космос. Должны быть строгие расчеты, чертежи...

— Так это же еще не окончательный! — сказал я.— Мы еще будем дорабатывать. Ты что думаешь, один ты соображаешь?

— Ну ладно,— сказал Алешка,— рассказывайте.

Толик начал рассказывать, но Алеша топорщил губы, пожимал плечами, улыбался. Толик покраснел, запнулся.

Тогда я сам взялся рассказывать. Но Алешка не дал мне кончить.

— Олухи! — закричал он.— Три дурака сразу! Ваша ракета может лететь только от солнца. Как же вы вернетесь на Землю?

Он повернулся и пошел, а мы так растерялись, что даже ничего ему вслед не сказали. Толик сидел на траве совсем расстроенный.

— Толик, ты что? — спросил я.

Но он молчал.

Мне хотелось избить Алешку. Чтобы не топорщил губы. Чтобы не посмеивался. Так у нас все было хорошо — и вот на́ тебе!

— Сема,— сказал я,— посиди возле Толика,— и побежал на улицу.

Наверно, я тогда плохо соображал. Ведь Параскевич был прав. Так за что же его бить? Но мне хотелось его побить, и все!

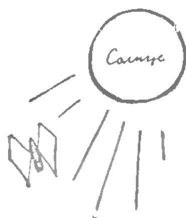
И вот вижу: Алешка бежит мне навстречу.

— Леня!— крикнул он.— Леня, какой же я олух! Ведь в средние века умели на парусниках плавать против ветра!

Он подпрыгнул, обломил с клена веточку и начертил под деревом солнце и ракету.



— Смотри,— сказал он,— корабль не сможет летать против солнца, но если хорошо разработать систему управления, то можно будет лететь наискось. Вот так:



— Бежим к Толику,— сказал я.

В тот день мы попробовали сделать новый чертеж «Бабочки». Мы прикололи бумагу к чертежному столу Толикиного отца. Мы ходили вокруг стола, садились за стол; мы очень много говорили: и сразу все, и по очереди — все без толку. Параскевич доказывал, что он знает, как составляются проекты, но ничего он не знал. Толик сказал: «Надо у папы спросить». Но отец его был в командировке. Так мы ничего и не сделали.

ВЕЧЕР С ГРУСТНОЙ ЛУНОЙ

Мне надоело сомневаться: сможем мы построить ракету или нет? Об этом я думаю в школе и дома. И когда я утром просыпаюсь, мне кажется, что и во сне я об этом думал. Недавно на литературе Владимир Петрович вызвал меня, а я не услышал. В классе смеялись. А мне не смешно было.

Сегодня вечером я увидел, что на небе взошла грустная луна. В такой вечер одному не справиться с сомнениями. Я пошел к Параскевичу. По дороге мне встретились две

грустные кошки и одна машина «скорой помощи». Луна висела справа от меня над домами, и я на нее поглядывал.

В комнате Параскевича было сумрачно. За окном качались деревья. Параскевич делал уроки.

— Алешка,— спросил я,— ты не находишь, что луна сегодня на небе грустная?

— Я никогда не видел грустной луны,— ответил Параскевич.— Такой не бывает. Ты это выдумал. Садись со мной делать уроки.

Я не мог заниматься. Я спросил Параскевича:

— А ты не боишься, что мы не сможем построить ракету?

— Не боюсь,— ответил Параскевич.— Я всегда знал, что мы не построим ракету.

— Ну как же так, Алешка?— спросил я.— Зачем же ты дружишь с нами?

— Мне интересно,— ответил Параскевич.— Дома говорят: «Ты должен добиться того, ты должен добиться этого», «самодисциплина», «все должно быть сделано вовремя». Надоело. А с вами ничего не надо добиваться, с вами хорошо.

Параскевич мне долго говорил о том, что сомневаться не имеет смысла. Он посоветовал мне спрятать сомнения подальше, в задний карман брюк.

От Параскевича я пошел к Королькову.

Корольков сидел за столом и смотрел на кончик пера. Такая у него привычка — смотреть на кончик пера, когда не получается задачка. Я прочел задачу и стал рассуждать о том, как можно ее решить, но Корольков отмахнулся.

— Ты всегда говоришь не подумав,— сказал он.— Помолчи.

Корольков стал опять смотреть на кончик пера. Вдруг он начал писать и быстро решил задачу. Он дал мне чистую тетрадку, объяснил решение и велел, чтобы я тоже записал.

— Ты перестал заниматься,— сказал Корольков.— Нехорошо распускать себя. Помни, Леня, держать себя в руках должен уметь каждый человек.

Я спросил:

— Корольков, ну а сомнения тебя мучают?

— Откуда ты знаешь?

— Знаю,— сказал я.— Меня тоже мучают. Ты не уверен, что мы построим ракету, правда?

Но, оказалось, я не отгадал. Корольков ответил, что об этом он как-то не думал — ведь ее строить еще не скоро. У него были другие сомнения.

— Леня,— сказал он,— ты же знаешь о моей несчастной любви. Я боюсь, что меня не только Тучка, но вообще никто не полюбит. Это очень несправедливо: я отличник, умею держать себя в руках, но девчонкам не нравлюсь.

Я стал Королькова утешать. Я говорил:

— Не понравился Тучке — понравишься другой девчонке. Ты не падай духом, Сема...

Но Корольков прервал меня:

— Нет. Я никому не понравлюсь. Я некоординированный человек... Ты, может, не слышал такого слова?

— Толик,— спросил я,— а что это такое?

— Координации нет,— ответил Корольков.— Хожу я смешно, бегаю смешно, а когда играю в волейбол, все животики надрывают.

Это верно. Когда Сема играет в волейбол, попробуй не засмейся: он же руки держит, как лопатки, еще и приседает смешно, а по мячу если попадет, то мяч обязательно не в ту сторону летит.

Корольков грустил. Я спросил, заметил ли он, какая на небе луна. Он покачал головой. Но он все же грустил.

Когда я уходил, Корольков сказал:

— Мы обязательно построим ракету. У меня другого выхода нет: я должен стать космонавтом.

Корольков долго говорил о том, какой он настойчивый человек: если что задумает, то уж не сворачивает ни вправо, ни влево, а идет прямо к цели — будет ракета!

Я вышел на улицу и увидел, что луна по-прежнему висит над домами.

Я пошел к Родионову. Он сидел в саду и смотрел на луну.

— На луне маленькое притяжение,— сказал Толик,— и я бы смог там быстро бегать и высоко прыгать.

Он мне рассказал, как лежал, не вставая, много месяцев в кровати,— это было в горном санатории. Ему очень хотелось побегать, и он смотрел на склон одной горы и представлял себе, как бежит по этому склону.

Я не стал спрашивать Родионова, сомневается ли он в том, что мы построим ракету.

В сад вышла мать Родионова. Она пробормотала: «Какой сегодня вечер ветреный. Не по себе мне что-то». Она отозвала меня в сторону и сказала:

— Понимаешь, Леня, мальчик, которого ты привел, забрал у Толика бинокль. Нельзя ли вернуть? Это бинокль моего отца. Нам не хотелось бы лишаться этой вещи.

Я сказал:

— Попробую.

Я вспомнил, что Пазуха учится в семнадцатой школе Толикина мать проговорила:

— Хорошо бы,— и ушла в дом.

Я вернулся к Родионову. Я спросил его:

— Как же ты отдал Пазухе бинокль?

— Он сказал, что продаст и принесет деньги,— ответил Толик.— Я хотел отложить деньги на книги по ракетостроению.

— Ты что же, не понял, что он обманщик? — спросил я.— Это же видно.

— Понял. Да мне неудобно было не дать.

Вот такой он человек, Родионов.

Я ушел от него поздно. На улице пахло по-осеннему, и когда я подошел к дому, то увидел, как с клена, что растет против окон нашей квартиры, сорвался лист. Он медленно кружил в воздухе, потом полетел быстрей, прилепился к стене дома; потом порыв ветра стих, и лист спокойно опустился на тротуар. Я был в одной рубашке и озяб. Но дома было тепло, я выпил чаю и совсем согрелся.

Потом я лежал в своей теплой постели, накрывшись одеялом, и смотрел в окно на раскачивающийся на проводе фонарь. Я представил себя на другой планете. Будет ли там где согреться? В груди у меня заныло. Я понимал, что ракету мы, может быть, никогда не построим, но все равно было страшно.

Я вспомнил тот вечер у Родионова, когда мне хотелось поскорей улететь с земли. Да неужели мне этого хотелось? Я долго не мог заснуть. Я представлял себя на другой планете, холодной, пустынной... Я лежал на камнях обессиленный и вспоминал... Я вспоминал, как мама по вечерам приносила мне простоквашу, как однажды утром я проснулся, выглянул в окно и засмеялся — уж очень хороший был день, да еще в этот день я в цирк собирался; я вспоминал наш дом, своих домашних, диван, на котором я спал,— всегда скрипели пружины, когда я на него ложился... Так я же лежу на этом самом диване! Вот счастье!

А завтра я выйду из нашего парадного и пойду с портфелем по нашей улице, и, как всегда, солнце будет слева над домами... И я, если захочется, потрогаю рукой стену того дома, который построен из шершавых камней, а захочу — выпью из автомата газировки... Вот здорово! Да как же я раньше этого не понимал!

ТРЕТЬЯ, И ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ПАЗУХОЙ. КОРОЛЬКОВ СОВЕРШАЕТ НЕОЖИДАННЫЙ ПОСТУПОК

Мы пошли отбирать у Пазухи бинокль. Все четверо: Толик, Сема, Алешка и я. Нам повезло: Пазуха учится во вторую смену. На перемене мы его разыскали.

Пазуха стоял у стены и всем, кто мимо проходил, подножки ставил.

— Пазуха, привет! — крикнул я.— Ты уже продал бинокль?

Пазуха взглянул на нас, но сразу же опустил голову и опять начал ставить подножки.

— Пазуха, где бинокль? — спросил я.

— Да что вы ко мне пристали? — закричал Пазуха.— Что вы пристали ко мне? Я ж отдал!

— А ну давай бинокль! — сказал Сема.— Жулик несчастный! Сейчас же давай, не то к директору пойдем!

Но я решил не так с ним поговорить. Я шагнул к Пазухе и уже выбрал место, куда ему съездить, но Пазуха в это время завопил на весь коридор:

— Братва-а! Наших бьют!

Я от неожиданности остановился.

Нас окружили. Но я скоро понял, что никто Пазуху защищать не собирается. Какой-то малыш сзади крикнул:

— Набейте его! Он меня по шее стукнул!

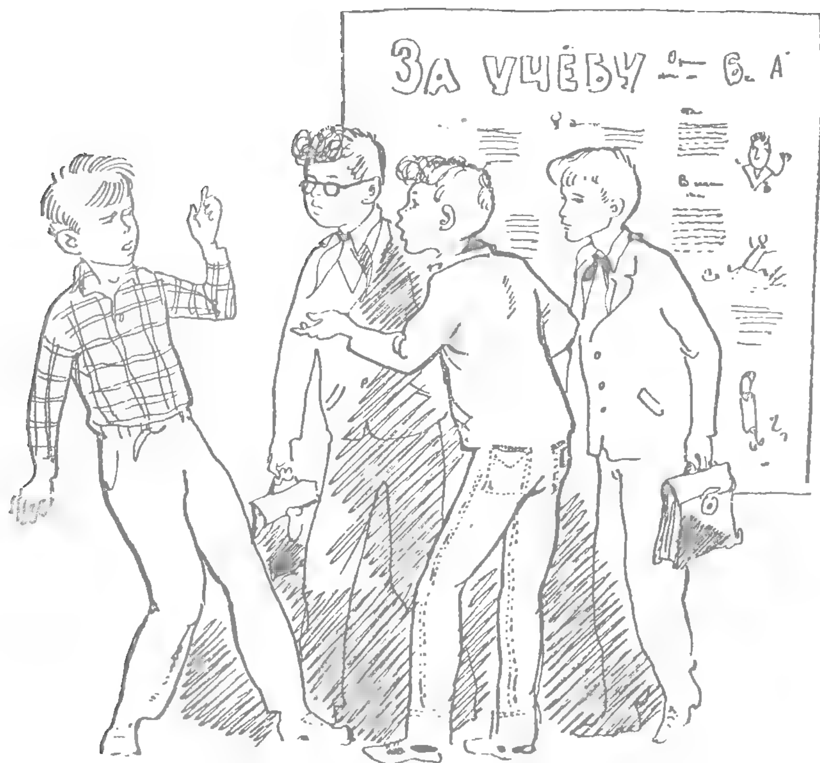
— Ну,— сказал я.— Возвратишь?

— Да что вам надо? — захныкал Пазуха.— Я же вчера вот этого отличника встретил,— он показал на Сему,— и отдал ему деньги.

Он начал кричать на Сему:

— Зажулил, да?! А теперь привел меня бить!

Он кричал не зря: я увидел, что к нам подходит учитель-



ница с красной повязкой на рукаве. Она немного задержалась, потому что не могла сразу протолкаться, а Сема в это время бросился на Пазуху. Я и не знал, что он может так разозлиться. Учительница его оттащила, но у Пазухи уже из носу текло. Вот это так Сема! А Пазуха-то! Он плакал басом и кричал, что всех нас надо поисключать из школы.

Учительница повела Сему за руку, а мы с Алешкой пошли следом. Мы ей объясняли про бинокль, но она и слышать ничего не хотела, твердила, что мы хулиганы.

В учительской нас спросили, из какой мы школы. Я соврал, что из десятой.

— Не из десятой,— сказал Сема,— из четырнадцатой.

Учительница с повязкой записала наши фамилии и сказала, что сейчас позвонит из кабинета директора и сообщит о драке в нашу школу. Она открыла дверь, чтобы выйти, и мы увидели Толика.

— Можно, и я войду?— сказал он.— Я с ними пришел.

Все в учительской смотрели на него, когда он входил.

— А на вид такие примерные ребята,— говорили учителя.

Учительница с повязкой скоро вернулась и сказала, что обо всем сообщила нашей пионервожатой. Нам разрешили уйти.

После всей этой истории мы шли быстро. Сема удивленно смотрел по сторонам и вздрагивал, как будто кто-то неожиданно у него над ухом закричал. Вдруг он остановился и, как со сна, обвел нас глазами.

— Так это, значит, я подрался? — спросил он.

— Ну да,— ответил я.

— А что я скажу?..— проговорил Сема.— Что я скажу, если нас будут обсуждать на сборе? Ведь я всегда говорил, что пионер не должен драться.

— Придумаем что-нибудь,— сказал Алешка.

Но мы так ничего и не смогли придумать. Тут уж ничего не поделаешь — все будут говорить: «Корольков такой примерный ученик и нá тебе — подрался!»

ВИЗИТ К ПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ. НАС ОБСУЖДАЮТ

В полвосьмого утра ко мне пришел Корольков. Еще не кончил звонить мой будильник, еще я не понял как следует, проснулся я или нет, а Корольков появился в дверях моей

комнаты со своим коричневым портфелем в руке. Я начал прогонять от себя сон: потянулся, потаращил глаза. Я спросил Королькова:

— Сема, что случилось?

Корольков сел на краешек стула и поставил портфель на пол; он ерзал, ему было неудобно сидеть, но он не догадался сесть поудобней; в руках он вертел листок бумаги, сложенный вчетверо. Не знаю, умывался ли он в это утро, но причесаться он забыл — это точно: два вихра торчали на голове Королькова, и они здорово были похожи на рожки.

— Леня,— спросил Корольков,— ты не забыл, что у нас сегодня мероприятие?

Я сначала не понял, о каком мероприятии он говорит. Оказалось, он говорит о сборе, на котором нас собирались обсуждать за драку с Пазухой. Я ответил:

— Сема, сбор — это, конечно, мероприятие. Но это не наше мероприятие. Это их мероприятие — тех, кто нас будет пропесочивать.

Но Корольков не согласился со мной. Он сказал, что все равно это наше мероприятие. Я начал ему объяснять:

— Вот если бы нам с тобой поручили выпускать стенную газету или организовывать культпоход, это было бы наше мероприятие. Ты, Сема, как хочешь, а я ни за что не соглашусь считать нашим мероприятием сбор, на котором меня будут ругать.

Но зря я старался. Когда Королькову что-нибудь втемяшится, ему ничего не докажешь. Я махнул рукой. Я только сказал: «Ты как хочешь, а у меня свое мнение».

Корольков повздыхал, развернул листок бумаги, который все время вертел в руках, прочитал что-то, сложил листок, опять повздыхал. Вид у него был совсем расстроенный.

— Я привык готовиться к каждому мероприятию,— сказал Корольков.— Ты помнишь, Леня, как я выступил на диспуте?

— Ты мирово выступил! — сказал я.

— А на том сборе, когда тебя обсуждали, ты помнишь, как я замечательно выступил?

— Еще бы! — ответил я.— И тогда ты выступил хорошо.

— А вот к завтрашнему мероприятию,— жалобно сказал Корольков,— я никак не могу подготовить выступление. До двух ночи сидел — не получается...

Ну, такого я не ожидал даже от Королькова! Я подумал: «Может, он заболел?» Я сказал:

— Ты что, с ума спятил?! Зачем тебе готовить выступление? Всё уже подготовили пионервожатая, Ольга Гавриловна и пионерский актив нашего класса.

Мои слова Королькова не успокоили. Он бубнил, что не может идти на мероприятие без подготовленного выступления.

Ну что ты будешь делать! Я в одних трусах заходил по комнате. Я решил как-нибудь попонятней объяснить Королькову, а то уж очень он мучился.

— Сема,— спросил я,— ты можешь себе представить, что ты умер?

Корольков подумал и ответил:

— Могу.

— Ну вот,— сказал я,— если ты умер, разве твое дело организовывать похороны? Всё сделают другие: помоют тебя, оденут, цветов нанесут,— а тебе останется только спокойно лежать. Ты понял? Так и на сборе будет. Другие обо всем позаботятся: приготовят выступление и все такое,— а ты только слушать будешь, отвечать на вопросы, а под конец пообещаешь, что не будешь драться.

— И все? — спросил Корольков.

— А что еще? — закричал я.— Ты проснулся, Корольков? Или ты все еще спишь? Ну подумай, какие глупости ты болтаешь!

Но Корольков хоть и не спал, был в таком состоянии, что ничего не соображал. Он протянул мне листок и попросил, чтобы я прочел его выступление. Я не стал читать, оттолкнул его руку и стал одеваться.

— Если ты мне не веришь,— сказал я,— то идем, я тебя отведу к понимающему человеку.

Я повел его к Грищуку.

Грищук еще спал. Его бабушка попросила: «Разбудите его, хлопчики, а то он меня не слухает». Я стал трясти Грищука за плечи. Грищук открыл глаза, посмотрел на меня както странно, вскочил и начал одеваться. Он быстро одевался, сопел, и вид у него был грозный.

— Я знал, Водовоз,— сказал он,— что ты придешь ко мне драться. Мне говорили, что ты тренируешься по боксу. Сейчас пойдем во двор.

— Да нет, Грищук,— сказал я,— мы к тебе по делу. Тебя на каждом сборе обсуждают; расскажи Семе, как надо себя вести, а то он волнуется.

— Что он, маленький? — сказал Грищук. — Ну, сначала ты станешь вот так, а тебе скажут: «Как ты стоишь? Стань как следует!» А потом тебе скажут: «Смотри классу в глаза! Умел проказничать — умей и отвечать».

— Грищук, но это же не обязательно,— сказал я.

— Обязательно,— ответил Грищук.— Вот увидишь.

— Ну хорошо,— сказал я,— а теперь объясни, что надо говорить.

— Говорить надо под конец. А сначала такое говорят, что отвечать не надо.

— Какое? — спросили мы с Семой.

— А вот такое: «Как ты дошел до жизни такой?», «Ты хоть бы мать свою пожалел!», «Вся страна работает, чтоб тебя одеть и обуть», «Почему ты подводишь весь класс?» На это отвечать не надо,— объяснял Грищук.— Нужно только постараться заплакать. Заплачешь — скорей простят.

— Вот видишь! — сказал я Королькову.— Это же просто. Ну, а что говорить надо? — спросил я Грищука.

— Не знает он, что ли? — ответил Грищук. — Говорить надо под конец: «Оправдаю доверие... пришью пуговицы... буду мыть руки... исправлю все двойки... в последний раз обещаю». Вот и все!

— Вот видишь, Сема! — сказал я.— Скажешь: «Больше никогда не буду драться» — и все! Выбрось свое выступление.

Я протянул руку, хотел забрать у Королькова бумажку.

Он не дал. Он прошептал: «Как же так?»— и выбежал из комнаты. Я его догнал на улице, но он не стал со мной разговаривать. В классе он сел за парту и просидел с опущенной головой все пять уроков. Он даже на переменах не вставал.

На сбор пришли пионервожатая, Ольга Гавриловна и Владимир Петрович. Я сначала не понял, почему это Владимир Петрович пришел, а не завуч или директор, но потом вспомнил, что Владимир Петрович замещает завуча,— Манечка Аб на перемене рассказывала. Наша завуч как раз ушла в отпуск, у нее ребенок скоро должен был родиться.

Сначала все шло, как всегда бывает на сборе. Пионервожатая рассказала о драке. Она говорила: «От Королькова мы этого не ожидали. Мы всегда ставили его в пример, а он не оправдал доверия и, вместо того чтобы других удержать, сам полез в драку». Пионервожатая велела Королькову во всем честно признаться.

Сема вышел к столу. Я посмотрел на него и понял, что он вряд ли говорить сможет. Он и правда только губами зашевелил, а звук получился такой: «Ту-а-а...» Потом он попробовал во второй раз и сказал: «Э-э-э...» И только после этого Сема заговорил. Но я все же думаю, что он не понимал, что говорит.



— Во вторник,— говорил Сема,— учащиеся семнадцатой школы были свидетелями тяжелого проступка четырех наших учащихся, членов нашего отряда: Королькова, Водовоза, Параскевича и Родионова. Эти учащиеся учинили настоящую драку.

И дальше он говорил то же, что и раньше на сборах. У меня просто глаза на лоб полезли: не понимает, что ли, Корольков, что теперь не он обсуждает, а его обсуждают.

— Мы должны бороться с подобными проявлениями драчливости в нашей пионерской среде,— закончил Сема свое выступление. Но он все же догадывался, что говорил совсем не то: он моргал, рот его кривился.— Я не знаю, что говорить,— повторял он.— Я не знаю...

— Сядь и успокойся,— сказал Владимир Петрович.

Потом начала выступать Манечка Аб. Она говорила, что мы катимся по наклонной плоскости прямо в мещанское болото. Владимир Петрович зажмурился. Мы все на него смотрели и ничего не понимали. Уж Манечка-то, мы думали, говорит правильно.

Владимир Петрович ей не дал закончить.

— Садись-ка,— сказал он.

Потом встал и оглядел всех нас.

— Вот вы все тут разные,— сказал он.— Есть и черноволосые, есть и белобрысые, есть и рыжие. (Про рыжих нам понравилось, и мы засмеялись.) Но когда вы выступаете, кажется, что говорит один человек. И плохой человек. Бездушный, неискренний. Нельзя так. Человек должен говорить от души, искренне. Это автомобили один на другой похожи, так их же на конвейере делают. А вы люди.

Дальше Владимир Петрович сказал, что надо учиться искренности у наших великих писателей: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого и Чехова. Он прочел стихотворение «Белеет парус одинокий». В классе закричали: «Еще!» Но он ответил: «Приходите на кружок — там почитаем, а сейчас давайте продолжать сбор».

Пионервожатая Лиля Петровна спросила, кто хочет выступить. Толик поднял руку. Он рассказал, как получилось, что Сема подрался с Пазухой.

Владимир Петрович кивал. А я-то думал, что Толик не умеет выступать на собраниях. А он всегда говорил от души.

Я тоже решил выступить. Я вышел к столу и стал говорить о дружбе. Я сказал, что мы четверо: Толик, Алешка, Сема и я — друзья и поэтому не могли допустить, чтобы Пазуха дурачил Толика.

Ну, а дальше я уже говорил о дружбе в космосе.

— В космосе,— говорил я,— каждый должен всегда быть готов прийти на помощь другу.

Потом выступила Хмурая Тучка и за ней Лапушкин. Они тоже старались говорить от души. Нас хоть и поругали за драку, но мне не обидно было.

После сбора в коридоре ко мне подошла Хмурая Тучка.

— Ты здорово сегодня выступал,— сказала она.— Мне очень понравилось про космос.

— Да что там, Тучка,— сказал я,— ты тоже хорошо выступила.

— А почему ты о космосе говорил? — спросила Тучка.— Вы собираетесь лететь, да? Ты, Сема, Алешка и Толик. Правда ведь?

— Да откуда ты это взяла? — сказал я.

— Догадалась,— сказала Тучка.— Я за вами уже давно наблюдаю.

— Выдумала ты все!

Я хотел от нее убежать, потому что увидел, что Толик,

Сема и Алешка ждут меня возле лестницы. Но Тучка сказала:

— Леня, постой! Я что-то хочу тебя спросить.— Она лизнула верхнюю губу.— Это ты написал Семе стихотворение?

Я ответил:

— Не я! Зачем мне писать? Это он сам!

— Нет, ты! — сказала Хмурая Тучка.— Не отпирайся.

Она повернулась и убежала. Я смотрел ей вслед. Почему она об этом спросила?

Весь день я вспоминал о Тучке. А вечером, когда лег спать, так ясно ее видел перед собой, что казалось, она стояла, наклонившись над моей кроватью.

Все понятно: я влюблен! Раз уж так получилось, то сегодня я не засну. Уж тут ничего не поделаешь: любовь — это любовь. Что же делать? Ведь Сема тоже влюблен в Тучку. Как же наша дружба?

Я ЛЮБЛЮ ВАС, ХМУРАЯ ТУЧКА! МОИ НЕПУТЕВЫЕ НОГИ

На следующий день в школе мне все время хотелось смотреть на Хмурую Тучку, и на уроках я часто оборачивался. Вот пришла к человеку любовь. Что ты скажешь! Раз уж такое случилось, надо написать Тучке письмо. Но что я ей напишу?

После занятий мы с Семой занимались в спортзале. Я все время думал о Тучке. Я прыгал через козла, бросал мяч в корзинку, лазил по канату, а все же ни на минуту не забывал, что мне надо решить, как быть. Я люблю тебя, Хмурая Тучка, но я отказываюсь от тебя во имя дружбы с Семой. Так и будет!

Я разделался с этой мыслью, и мне стало легче. Но когда я распрощался с Семой и шел домой, я почувствовал, какой я несчастный. Я буду о тебе помнить, Хмурая Тучка,

всю жизнь. И, как знать, может, память о тебе вернет мне силы, когда я, усталый и потерявший надежду, буду пробираться сквозь дебри далекой планеты в поисках нашего корабля.

Я так размечтался, что прошел мимо своего дома. А еще посмеивался над Корольковым.

Дома я сел писать Тучке письмо. Я закончил его так: «Я люблю Вас, Хмурая Тучка, но во имя дружбы с Семой я от Вас отказываюсь. Будьте счастливы».

Я решил отнести письмо Тучке домой, мне хотелось, чтоб она узнала о моем решении немедленно.

Я все проделал очень здорово. Мне открыла дверь Тучкина мать, и я попросил ее позвать Тучку. Но только она ушла в комнату, я положил письмо за порог и убежал. Была суббота. В понедельник я увижу Хмурую Тучку. Что она мне скажет? Я все время думал об этом. А зачем было об этом думать? Я ж отказался от Тучки; теперь уж все равно, что она скажет. И все же я думал об этом. Мне хотелось, чтоб понедельник наступил поскорей.

Но до понедельника время тянулось долго. Столько всего произошло...

Когда я вернулся домой, все наше семейство обедало в кухне.

Мама спросила:

— Ты куда это исчез? Почему не обедал?

Я сел обедать. И вот слышу: за столом говорят о том, что молодые завтра пойдут в загс регистрироваться. Вот как быстро время пролетело. А я еще ничего не сделал, чтобы помочь учителю танцев.

— Ты чего такой? — спросила мама.— В школе все в порядке?

— А ну тебя! — сказал я.

— Уходи из-за стола! — сказал папа.

Я ушел. Мама принесла мне поесть в мою комнату. Она сказала:

— Легче всего нагрубить матери.

Я не стал есть и убежал на улицу. Не верят мне — не надо! Я что-нибудь придумаю.

Я пошел к Родионову. Алешка и Сема были у него. Толик сказал:

— Хорошо, что ты пришел. Мы договорились проводить испытание на пилота.

Испытание мы проводили в парке.

Уже все деревья стояли голые, и только на дубе неподалеку от скамейки, на которой мы сидели, еще держалась листва. Она шелестела, как бумага, и была совсем мертвая. Желтая трава по сторонам от аллеи прилипла к земле от дождей и ветра.

Все на нашей планете идет по расписанию. Такая дисциплина, что ой-ё-ёй! А я вот человек недисциплинированный. Ничего не могу поделать со своими ногами. Только я сел испытываться, как почувствовал, что им очень хочется подрыгать. Я представлял себе, что веду корабль, ориентируясь по звездам, поворачивая ручки управления, но моим ногам до этого не было никакого дела. Им бы только дрыгать. Минут через десять я уже не мог их удержать.

Я встал со скамейки. Я уже видел, что не гожусь в пилоты. Но вот здорово: когда я встал, оказалось, что я уже знаю, что мне делать завтра. Придумал!

Толик тоже скоро провалился. Он увидел собаку и закричал: «Кутя, Кутя! Кутя!» Собака завиляла хвостом, а Толик опомнился и вздохнул.

Зато Алешка и Сема просидели, наверно, с полчаса и не шелохнулись.

— Ладно, вставайте, — сказал я. — Будете по очереди вести корабль.

— Пустяки,— сказал Алешка.— Когда играешь турнирную партию, сидишь четыре часа подряд.

— Или когда делаешь уроки,— сказал Сема.

Домой я вернулся к ужину. За столом сидел коммерческий директор. Ну прямо как член семьи: пиджак его висел на спинке стула, а сам он сидел облокотившись, и вид у него был такой довольный, что просто загляденье.

Все говорили о том, что еще надо купить к свадьбе и кого еще пригласить. Мила вспомнила, что забыла пригласить какую-то Верочку Шостак, и побежала к телефону звонить ей. Я жевал колбасу, сыр, прихлебывал чай и еле удерживался, чтобы не засмеяться. Ну, посмотрим! Он небось думает, что я уже сдался. Учитель танцев — вот кто будет Милиным мужем!

Коммерческий директор ушел вскоре после ужина; я после его ухода сидел на диване, читал, следил, чтобы мои ноги вели себя как следует, и ждал, когда в доме все уснут. Мои ноги несколько раз пробовали подурачиться, но я их крепко прижимал одну к другой. Я прочел всю поэму «Кавказский пленник» и после этого почувствовал, что они сдаются. Они уже больше не своевольничали. То-то же!

В первом часу ночи я на цыпочках прошел в комнату, где спала Мила. Нелегко было в темноте найти ее паспорт. Он оказался в шкатулке, куда Мила складывала письма. Спи, сестра. Я знаю, ты будешь говорить, что я самый гадкий человек на свете, но я так поступаю, потому что люблю тебя. Я постоял, послушал, как она дышит. Но она как будто что-то почувствовала и беспокойно зашевелилась.

Я вышел, аккуратно затворил дверь и ушел в свою комнату. Я забросил Милин паспорт на шкаф.

В ту ночь мои мысли не давали мне заснуть. Сколько их мелькало в голове, окаянных! Они поворачивались то одной стороной, то другой, то брались за руки и кружились в хороводе, то начинали кувыркаться, как акробаты. Я начинал

обдумывать какую-нибудь одну, а они всей гурьбой бросались к той, которую я выбрал, и все перепутывали. Я их выстроил в одну шеренгу и начал обдумывать ту, что стояла справа, самую окаянную. Это была мысль о том, что мне делать, если дома догадаются, что я стащил паспорт. Но только я принялся за эту мысль, как опять налетели другие: о Хмурой Тучке, о Миле, об учителе танцев, о моих ногах, о космосе — да сколько же их!

В общем, я понял, что так с ними не сладить. Я решил дать им волю и подождать, пока они устанут. Ну и мельтешили же они! Ну и выделывали финты! Я накрыл голову подушкой.

Но наконец они выдохлись, попадали в изнеможении, а я взял самую важную и додумал.

Вот что я решил. Буду держаться до конца, ни за что не верну паспорт!

Мне сразу стало легче. Я еще хотел подумать о том, как мне сказать учителю танцев, что я хочу ему помочь, — он завтра придет. Но на эту мысль у меня уже не хватило сил. Я решил додумать ее завтра. Ух... Не легко все же быть мыслящим человеком.

НАДО МНОЙ ГРЕМЕЛ ГРОМ...

С утра я ушел из дому и долго гулял с Толиком, Семой и Алешкой. Я нарочно долго гулял. А когда вернулся...

Дома было тихо. Я заглянул в одну комнату: там возле торшера на маленьком стульчике сидела, понурившись, мама; она подняла на меня глаза, но я закрыл дверь. В другой комнате за столом сидели Мила и коммерческий директор; на столе, на этажерке, на подоконнике стояли цветы. Я понюхал и те, что стояли на столе, и те, что стояли на

подоконнике. В комнату вошла мама, и теперь уже на меня смотрели трое. Смотрите, если вам нравится.

— Это ты? — спросила Мила. — Паспорт вчера был на месте — я помню.

Я понюхал цветы, которые стояли на этажерке.

— Верни! — сказала Мила. — Ты, наверно, не подумал, что делаешь? Мы уже просрочили время во Дворце бракосочетания.

Они все поняли; я пожалел, что пришел домой.

— Ты ведь его не порвал? — спросила Мила.

— Отвечай! — крикнула мама.

Я пошел в свою комнату, мама и Мила за мной. Долго же они на меня наседали!

Мама попробовала меня бить, но только сама расплакалась. Они с Милой говорили, что я бездушный, гадкий, упрямый, вредный, злопамятный, пакостный; они меня трясли, приподнимали мне голову за подбородок, шлепали меня, кричали, упрашивали. Они говорили, что я пользуюсь тем, что меня дома не наказывают; они говорили, что, если бы у меня были другие родители, из тех, что избивают детей, я бы так не поступал.

— А вы мне не верите! — закричал я. — Вы верите ему, а мне нет! Я дома как чужой!

Я лег на диван и повернулся к ним спиной. Надо мной гремел гром, сверкали молнии... До сих пор не верится, что я все это выдержал. Когда они вышли, я пошел на балкон, подставил под дождь ладони и освежил лицо.

Я вернулся в комнату; там сидел на диване коммерческий директор. Он был расстроен, курил сигарету, долго искал, куда бы стряхнуть пепел, но позабыл об этом, и пепел стряхнулся на пол. Тогда он сказал:

— А, черт! Не найдется ли у тебя листка бумаги?

Я подал ему, и он положил этот листок на диван и стал на него стряхивать пепел. Он часто стряхивал, все поглядыва-

вал на меня и, наверно, раздумывал, как бы это получше повести разговор. Я думал, он сразу же начнет уговаривать. А он сказал:

— Твоя мама уже несколько дней смотрит мне вот сюда.— Он показал на переносицу.— Изучает. Она уже почти поверила тебе.

Он усмехнулся и надолго замолчал. Может, он забыл, что я в комнате? Он морщился, усмехался своим мыслям, а один раз даже пробормотал: «А! Черт с ним!»

Я не сводил с него глаз. Интересно было: в первый раз я его видел вот таким — непритворяющимся. Да он ли это? Просто на диване сидел парень в черном пиджаке, в нейлоновой рубашке и волновался.

— Ты думаешь, что поступаешь благородно,— заговорил он снова.— Так я тебе объясню: глупей быть не может. Ты мальчишка развитой, ты меня поймешь. Я люблю твою сестру. И она любит меня. Такого, как есть, понимаешь?

Я кивнул. Чего тут не понять?!

— Нет, не понимаешь,— сказал он.— Если б понял, то сейчас бы достал паспорт и дал мне его.

Я боялся, что он останется в нашем доме: будет ходить по комнатам, посмеиваться, врать. И я подумал: может, я не так уж бескорыстно люблю учителя танцев, может, я ему хочу помочь потому, что боюсь, что в нашем доме будет жить этот притворщик? Я из-за этой мысли расстроился. Нужно же человеку кого-то любить бескорыстно!

— Так мы с тобой договоримся? — спросил коммерческий директор.— Ну не глупи. Давай паспорт. Где он у тебя? — и даже заерзал, начал все осматривать в комнате и протянул руку.— Ну?

Он долго держал руку протянутой, лицо становилось злым, и, я так думаю, этой самой его руке здорово хотелось съездить мне по шее. Когда он понял, что я не верну паспорт, он убрал руку и встал. «Анекдот!» — пробормотал он

и вышел в соседнюю комнату. Там он сразу заговорил громко и уже совсем другим голосом. Он сказал что-то смешное, и мама с Милой засмеялись, но тут же умолкли — пришел папа. Он пошептался с мамой и Милой, потом вошел в мою комнату. Я испугался, что уж если он за меня возьмется, я не выдержу. Я прошмыгнул мимо него в дверь. Он крикнул: «Вернись!» — но я уже был на лестнице.

Потом я на углу ждал учителя танцев. Скоро я его увидел и пошел навстречу. Я сказал

— Мне нужно с вами поговорить.

ЭПИЛОГ

Всем хорош наш город, вот только дожди часто. Но зато уж если выдастся хороший день, то у всех такое настроение, как будто наступил праздник. Солнце поблескивает в стеклах окон, в фарах машин — то здесь полыхнет, то там, и если где лежит хоть самый маленький осколок стекла, он не забудет тебе мигнуть и напомнить, какая славная выдалась погода.

В такой день часов в десять утра я вышел из дому и направился в парк. Была весна, месяц май, воскресенье, цвели яблони. Я свернул на улицу, обсаженную каштанами. А вон дом Хмурой Тучки. Может, Тучка будет на балконе, я взгляну на нее мельком и пойду дальше. Я посмотрел на балкон, но там стоял, вцепившись в перила, маленький Тучкин братишка. Жаль! Мне очень хотелось увидеть Тучку. Как печально у нас получилось!

В понедельник, после того как я отнес Тучке письмо, где написал, что отказываюсь от нее, Тучка на всех переменах от меня отворачивалась. Она все пять уроков сердилась: когда ее вызвали отвечать, она отвечала хмурясь, а когда писала на доске, то стучала мелком, нажимала, мелок крошился, а потом Тучка быстро шла на место, и, когда проходила мимо моей парты, ее косички взлетали — так резко она отворачивалась. После уроков, когда я шел заниматься к Семе, я встретил Тучку возле булочной. В руке у нее была авоська, и в ней что-то завернутое в газету — наверно, хлеб. Я опустил глаза, но все же заметил, как взлетели Тучкины косы, когда она отвернулась от меня. Она прошла мимо, но вдруг слышу:

— Ленька! Ты чего это вздумал отказываться от меня?

Я повернулся: Тучка стояла сердитая, авоська в ее руке раскачивалась. Я забормотал, что иначе нельзя.

— Ты не имеешь права этого делать! — сказала она. —



Если б я сказала, что люблю тебя, тогда другое дело. Как это можно ни с того ни с сего отказываться?

— Тучка,— спросил я,— так ты меня не любишь?

Она не ответила. Авоська в ее руке уже не раскачивалась. Она водила носком туфли по тротуару.

— Леня,—сказала Тучка,— уж если иначе нельзя и надо обязательно отказаться, так давай я от тебя откажусь. Если б ты знал, как плохо, когда от тебя отказываются!

— Но, Тучка,— сказал я,— я же от тебя отказываюсь не просто так, а во имя дружбы. Это же не обидно. А ты во имя чего хочешь от меня отказаться?

Я ей долго доказывал. Я говорил, что могу погибнуть где-нибудь там, на Юпитере или в созвездии Гончих Псов, и тогда она будет переживать, что так со мной обошлась.

— Ладно,— сказала она,— отказывайся от меня. Я вижу, что так надо. Только, пожалуйста, береги себя. Не выходи в космос без веревки.— Шея у Тучки вытянулась, подбородок приподнялся.

Я сначала ничего не понял... Олух! Как я мог забыть, что мужчина должен поцеловать любимую женщину, когда расстается с ней навсегда. Я поцеловал ее в холодную щеку, и она ушла с авоськой, в которой лежал хлеб, завернутый в газету.

Я вошел в парк и пошел по аллее, еще влажной от недавних дождей. Я вспомнил осень — время, когда мы решили лететь в космос. Так у меня получается: уж если начну вспо-

минать, то вспоминаю целый день; и когда ложусь спать, то все еще продолжаю вспоминать, а на следующее утро всегда оказывается, что я не выспался. Так вот, я вспомнил всю эту историю с Милиным замужеством. Вспомнил, конечно, и наш разговор с учителем танцев в тот день, когда Мила должна была расписаться с коммерческим директором.

Я пробормотал учителю танцев, что хочу с ним поговорить, и замолчал.

— Что случилось? — спросил он.— Что с тобой?

Еще б немного, и я бы убежал.

— Да что такое? — спросил учитель танцев. — Чего ты мнешься?

— Я все знаю,— сказал я.

— Что?

— Я знаю,— сказал я,— зачем вы к нам ходите. Я на лестнице разговор подслушал.

Учитель танцев нахмурился:

— Зачем ты мне это говоришь?

— Сегодня они собираются расписаться,— сказал я. — Я не хочу, чтоб он женился на Миле. Давайте что-нибудь сделаем.

— Но ведь это подло! — сказал учитель танцев.— Что ты несешь?

Тогда я ему рассказал о коммерческом директоре.

— Мне не верят,— сказал я.— Они мне ни за что не поверят! Давайте что-нибудь сделаем. Я уже стащил у сестры паспорт.

— Ну-ка, идем посидим,— сказал учитель танцев.

Мы пошли в сквер и сели на скамейку. Моросил дождик. Пробежали две девчонки из шестого «В» под одним зонтиком. Мы посмотрели им вслед. Учитель танцев положил мне руку на колено.

— Сейчас ты пойдешь домой и вернешь паспорт,— сказал он.

Я вскочил. Я не ожидал, что он такое предложит.

— Так он же всех обманывает! — закричал я.

— Да ты пойми,— сказал учитель танцев,— они распишутся потом, вот и все. Этим ты ничего не изменишь.

Мы сидели грустные. Мы оба были влюблены и оба несчастливы. Дождь пошел сильнее. Учитель танцев поднял воротник плаща. Славно нам грустилось. Наконец учитель танцев встал и протянул мне руку.

— Давайте погрустим еще немного,— сказал я.

Он засмеялся и сжал мне руку.

— Ты вымок,— сказал он.— Верни паспорт и садись у телефона — я позвоню...

Паспорт я швырнул на стол. Мама сказала: «Одумался, слава тебе господи!» Мила посмотрела на часы: «Валя, побежали!» А коммерческий директор... Знаете, что он сказал? «Я всегда был уверен, что Ленька славный парень!»

Я пошел в папин кабинет и стал ждать звонка учителя танцев. Зачем же я все это делал? Столько вытерпел!

Когда учитель танцев позвонил, я плакал.

— Ты сделал? — спросил он.

— Сделал,— ответил я.

— А теперь вытри слезы.

Я вытер.

— Ну-ну,— сказал учитель танцев.— Все не так уж страшно, как тебе сейчас кажется. Прощай, рыцарь.

Я всхлипнул, но учитель танцев уже этого не слышал — в трубке раздались гудки.

Я подошел к киоску, где договорился встретиться с Алешкой и Семой. В парке было малолюдно, тихо, только две вороны подрались на дереве и так кричали, как будто обе правы. Прямо к аллее подступала горка, с кустами бузины, с молодыми кленами подальше а еще выше росли три большущих бука; солнце просеивалось сквозь их листву, и верх косогора был усыпан подрагивающими бликами. Но одно

место, там, где рядышком стояли три клена, было совсем тенистым, там было сумрачно, и не знаю почему, меня туда потянуло. Я взбежал по косогору, упал лицом в прошлогоднюю прелую листву, и запах земли и листьев был такой сильный, что даже голова закружилась. И так я лежал и вспоминал.

Жаль, что в нашем доме ко мне несерьезно относятся. Когда Мила через четыре месяца разошлась с коммерческим директором, мама только и сказала: «Леня его с самого начала невзлюбил». Если б они меня послушали... Но что делать? Взрослые ни за что не хотят признать, что ты что-то понимаешь. Мама как-то сказала: «Он мне тоже не нравился. Мне стоит взглянуть на человека, и я сразу вижу, что он собой представляет». Вот этого я уже стерпеть не мог. Я крикнул: «Да ты же сама мне говорила, что он очень приличный молодой человек!» Мила заплакала. А папа сказал: «Не кричи на мать!»

Мила переменилась: стала меньше говорить, часто остается одна и ей нравится теперь ходить куда-нибудь со мной. Мила уже знает, зачем к нам приходил учитель танцев. Я проболтался об этом маме, а мама Миле рассказала. Мила об учителе танцев никогда не говорит, а мама часто вспоминает: «Такой милый, застенчивый... Вы подумайте, даже заговорить стеснялся!»

Совсем недавно мы с Милой встретили учителя танцев. Мы увидели его еще издали. Я крикнул: «Здрасте! Давно не виделись». Я заметил: Милина голова начала наклоняться — сначала медленно, нерешительно, но под конец уже стало ясно, что она кивнула учителю танцев. Учитель танцев ответил быстрым кивком, улыбнулся мне, хотел пройти, но я к нему подошел. Мы немного поболтали. Потом я догнал Милу, мы купили билеты в кино, но Мила неожиданно сказала: «Знаешь, мне расхотелось. Иди один. А я посижу в парке». По-моему, ей было грустно.

Когда я вернулся к киоску, Алешка и Сема набросились на меня:

— Где ты пропадаешь? Мы опаздываем на поезд!

Мы отправлялись навестить Толика. В марте у него начала болеть нога, и его послали в горный санаторий. Ему приходится лежать не вставая, и он очень боится, что больная нога помешает ему лететь с нами. Отец сделал для него такую доску, чтоб можно было писать лежа, и Толик по-прежнему для интереса пишет на черновиках разными чернилами. Мы отсылаем ему задание и стараемся навещать его.

Мы в тот день успели к поезду. Мы смотрели в окно. Это было интересно, потому что то, что видишь из окна вагона, похоже на кино. А в кино всегда интересно, что будет дальше. А с нами? Что будет с нами дальше? Со мной, с Толиком, Семой, Алешкой? Интересно себе это представить. Представить можно все, что захочешь. Мне вот очень нравится представлять, как я, Мила и учитель танцев идем покупать ракетки для бадминтона. Вот если бы... Вагон мотнуло на повороте, и я стукнулся лбом, где-то пронзительно заскрипело, но потом опять начало выстукивать и подрагивать; я потер лоб там, где ушибло...

ОГЛАВЛЕНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для среднего возраста

Левинзон Гавриил Александрович

МЫ ВЕРНЕМСЯ НА ЗЕМЛЮ

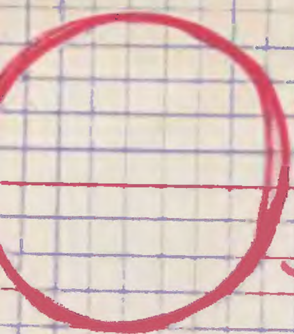
Повесть

Ответственный редактор Н. С. Абрамова. Художественный редактор А. В. Пацина. Технический редактор Г. В. Лазарева. Корректоры Е. Б. Кайрукштис и Т. П. Лейзерович.

Сдано в набор 5/VI 1969 г. Подписано к печати 2/X 1969 г. Формат 60×84[1]/[16]. Печ. л. 9. Усл. печ. л. 8,4 (Уч.-изд. л. 6,73). Тираж 50 000 экз. ТП 1969 № 322. А06270. Цена 30 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Зак. 4345.



Солнце

Солнечные лучи

Парусная ракета

„Бабочка"


Парус I
Антенны
СССР
6
Парус II
Кабина
космонавтов

Цена 30 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“